



Любовь земная

Петр Проскурин

**Отречение**

## **Проскурин П. Л.**

Отречение / П. Л. Проскурин — — (Любовь земная)

Творчество русского писателя Петра Проскурина хорошо известно не только в нашей стране, но и за рубежом. Новый его роман «Отречение» завершает трилогию, куда входят первые две книги «Судьба» и «Имя твое». Время действия «Отречения» – наши дни. В жизнь вступают новые поколения Дерюгиных и Брюхановых, которым, как и их отцам в свое время, приходится решать сложные проблемы, стоящие перед обществом. Драматическое переплетение судеб героев, острая социальная направленность отличают это произведение.

## Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ	5
1	5
2	24
3	30
4	40
5	49
6	57
7	63
8	73
9	86
10	98
11	104
12	113
Конец ознакомительного фрагмента.	116

# Петр Проскурин

## Отречение

### КНИГА ПЕРВАЯ

#### 1

В душный предвечерний час низкое солнце золотило, уходя, купола и кресты храмов Кремля; на Гоголевском бульваре было шумно илюдно – после жаркого дня киоски с мороженым, водой и квасом были давно опустошены и подступавшая вечерняя прохлада несла некоторое облегчение, хотя нескончаемые человеческие потоки по-прежнему куда-то спешили. Академик Обухов и Петя, встретившиеся по делу, увлекшись разговором и ничего не замечая вокруг, прогуливались в некотором удалении от метро под пыльными, давно не видевшими дождя деревьями; Обухов, получивший очередной отказ в задуманной экспедиции на Зежский кряж, просил Петю, пока суть да дело и вопрос рассматривается, теперь уже в самых высших инстанциях, до возвращения на Дальний Восток съездить на кордон с дозиметром, попутно взять биологические пробы. Петя молча слушал, затем кое-что записал в блокнот для верности; покосившись, академик помолчал и добавил:

– Повидайте Игната Назаровича, от него вчера письмо пришло какое-то путаное, вспоминает мои лекции, о настоящем же положений подозрительно вскользь. Обещает при первой возможности приехать, рассказать... Вот только ждать нельзя.

– Конечно, конечно, Иван Христофорович, – согласился Петя. – Мне и деда надо повидавать. Воскобойникова я люблю, надежный человек, с ним спокойно становится. Я одного не пойму, почему одни кричат, а другие совершенно ничего не слышат? Боюсь, нас с вами тоже никто не услышит...

– Услышать должен не человек, а человечество, – сказал Обухов и поморщился. – И здесь пахнет нефтью, остатками жизни... да, мы уже говорили с вами как-то о термодинамически новых мирах, они не примут живущего по биосферным законам человека, они его просто уничтожат. Надо кричать, как вы весьма энергично выразились, Петр Тихонович. Другого пути нет.

– Встряхнуть человечество не так просто, пожалуй, необходима глобальная катастрофа. Не поздновато ли придет прозрение? – вслух подумал Петя.

– Вы еще не представляете себе возможности живого вещества, – возразил Обухов. – На живое вещество, полагаю, тоже распространяется статус вечности. Весьма печально, если разум на нашей маленькой планете будет отброшен назад во тьму. Хилязматический Марксов социализм – путь в никуда, в ничто, это становится теперь ясным даже дураку.

– Сколько ересей было и прошло, – примиряюще улыбнулся Петя. – Человечество все время погрязает в каких-то очередных новых ересях, затем отряхивает их и топает себе дальше.

– Такой еще не заводилось, – сердито сказал Обухов, закладывая большие пальцы в карманы своего жилета и сразу приобретая бодрый, воинственный вид. – Гипнотизация вселенским равенством, путь этой машинной марксистской ереси – вырождение и гибель человечества. По крайней мере для России эта заморская ересь не подходит и не могла подойти. Чужеродный опыт на российской почве принес уродливейшие результаты! Посмотрите, что они сделали с отечественной наукой! А с русской культурой? А с самой Россией?

Некоторое время они шли молча, на очередном повороте Петя сошел с дорожки, пропуская вперед Обухова.

– Мне как-то не по себе последнее время, Иван Христофорович, – признался он. – Вы занимаетесь Бог знает какими второстепенными частностями... Свою работу по живому веществу почти забросили, ее ведь, кстати, никто сейчас в мире больше не сделает. Не справитесь вы с ними, поверьте, Иван Христофорович, они должны сами отмереть...

– Чушь, чушь, Петр Тихонович, – опять не согласился Обухов. – Очередная ересь, вера в невозможное, тот же хилиазм, он у нас у всех в печенках. Посмотрите же здравым взглядом на эту гниющую страну, вы в состоянии пройти мимо?

– Не могу понять корней сталинизма, – сказал Петя. – Что есть сам Сталин?

– Дело не в Сталине, с его весьма скудным культурным слоем и с мощнейшими инстинктами, – раздраженно возразил Обухов. – Дело в породившей его системе. Породила и вознесла, и никаких ершей. Сейчас, уже на нашей памяти, вылепила еще более идиотскую модель... Старческого хилиазма.

– Все-таки в Сталине чувствуется личность, – сказал Петя. – Не в пример нынешним деятелям... Сколько я отца спрашивал, все обещал, откладывал, уклонялся, а ведь не раз встречались... В специальной литературе – сплошная ложь, панегирик. И в романах...

– Романы лгали и лгут, не забивайте вы себе мозги мусором, коллега, – сухо засмеялся Обухов. – Попытка понять Сталина – попытка понять истину о трагедии России. Опаснейшая штука, коллега! Не советую, мгновенно оторвут голову. От Сталина ведь обязательно пойдешь дальше, назад, вглубь, и сюда, в наше достославное время. В этом вопросе каждый выплывай как знаешь. Небывалый в истории случай запланированной и упорно проводимой верхами массовой дезинформации. Корень зла – все в том же хилиазме!

– Об этом ведь даже написать невозможно! Само словечко какое завиралистое! Хилиазм! Ну, кто услышит? Что, вот сейчас станешь на бульваре и начнешь проповедовать? Э! Граждане! Послушайте!

Несколько человек оглянулись и даже приостановились, ожидая дальнейшего, но Петя, поймав изучающий и даже подзадоривающий взгляд Обухова, оборвал, раскланялся, извинился, и они двинулись дальше; Обухов, взглянув на часы, заторопился, вспомнил о необходимости принимать гостя из Швеции.

– Есть, есть люди, талантливейшая молодежь! Одержимая! Вот Вениамин Алексеевич Стихарев, вы прекрасно его знаете. Очень одарен. Одержим... Вокруг него уже складывается направление... Вот, пожалуйста, год, два и успешно продолжит...

– Докторская у него, конечно, выдающаяся, – согласился Петя. – Вот только зачем вы уговорили его в свои заместители? Либо администратор, либо ученый.

– Вы оцените мое решение позже, Петр Тихонович...

– Я позвоню вечером часов в девять? – спросил Петя. – Успеете прочитать?

– Звоните ближе к одиннадцати, – ответил Обухов, – а, впрочем, лучше сразу и приезжайте, обговорим конкретно.

Они миновали вход в метро, пересекли бульвар на углу Волхонки и уже хотели расходиться, но Обухов неожиданно придержал собеседника за плечо.

– Жаль, жаль, у нас всегда не хватает времени, – сказал он, и в голосе у него прозвучали какие-то незнакомые Пете мягкие интонации. – С одной стороны, хорошо, а с другой – жаль, жаль... Знаете, я ведь такой старый, помню еще времена совершенно доисторические, метро называлось тогда именем Кагановича...

– Кагановича? – удивился Петя.

– Вот видите... Любимые места юности, я здесь неподалеку на Староконюшенном жил, – опять все с той же неуловимой грустью сказал Обухов. – Напротив, видите, дымится хлорированная грязная лужа, именно там стоял храм Христа Спасителя. Я очень любил сидеть на ступеньках его лестницы, с другой стороны, у реки. Весь какой-то бело-розовый, торжественный, возносился к небу, как молитва или хорал... Как-нибудь расскажу. Видите, коллега, бывали

времена и покрепче, в целом народе смогли разбудить, раскачать инстинкт к самоуничтожению, к тотальному разрушению основ. И стихия разрушения продолжается, сейчас уже больше по инерции, не знаю, достаточно ли будет только нашего русского опыта? Или через этот испепеляющий огонь должен пройти весь мир? Полагаю, нам надо делать свое, вы понимаете, коллега, свое, то, что у каждого горит в душе. И не поддаваться никакому бреду – делайте свое!

Прищурившись, Петя попытался представить себе храм и почти не слышал последних слов академика.

– Живое вещество живым веществом, Петр Тихонович, а человечество должно и может найти силы спасти образ и подобие Божие – человеческую индивидуальность. Человечество уже глядит в бездну... Ведь человечество и человек, несмотря ни на что, абсолютно свободны в вопросе последнего выбора между жизнью и смертью... Теперь, на нашем уровне знаний это становится абсолютно ясно. Спасение в нас с вами. Раз мы с вами живы, значит, и Россия жива, и Москва жива. Надо жить и бороться. Русский народ уже бессмертен, он явил человечеству высочайшую духовность – этот заслон не смогла разрушить полностью даже эта всемогущая мафия всемирных кочевников, по их собственному глубокому убеждению, всевластных архитекторов вселенной. Удар был страшен, ничего, семя осталось, значит, жизнь выстояла. Ничего, коллега, ничего!

– Иван Христофорович, а когда здесь еще стоял храм, вы сами чувствовали Бога в душе? – неожиданно спросил Петя, глядя совсем по-детски, как-то отстраненно, и академик, засмотревшись на красоту Петиного тонкого лица, мягко тронул его за плечо.

– Петр Тихонович, что с вами?

– Не знаю, – растерянно ответил Петя. – Странное чувство. Мне захотелось вспомнить мать совсем молодой, рядом себя – мальчиком, вот не смог... ничего не вижу. Странно, странно – какой-то туман плывет перед глазами.

– Бывает, – совсем тихо сказал Обухов и незаметно подвинулся ближе. – Знаете, забытое возвращается, уверяю вас, вот посмотрите, у вас еще есть время убедиться. Что-то душно сегодня, совсем дышать нечем. Наверное, будет гроза... До вечера... жду.

Кивнув, Петя остался стоять, обтекаемый толпой, захваченный какой-то своей мыслью, всем своим существом ощущая сейчас свою малость, свою ненужность в этом огромном вечном городе и в то же время радуясь, что он есть, что он существует, что ему хочется ощущать себя в непредсказуемой стихии людского водоворота. Перейдя улицу, он прошел по одному из спусков к бассейну, нашел свободную скамью, сел и надолго задумался.

\* \* \*

Золотые купола храма плыли над Москвой, сияя чистотой в ясной безоблачной синеве неба, связывая дни и ночи, недели и десятилетия в одну неразнимаемую цепь. Угадывались они в любое время года, и в бесснежные зимние сумерки, и в летние душные ночи. На ступенях вокруг храма, особенно со стороны Москвы-реки, любили сидеть не только убогие и униженные, нуждающиеся в помощи и защите. Сюда приходили и счастливые – здесь они полнее чувствовали и сильнее любили; приходили сюда приобщиться к вечности и утешиться и старики, уже готовящие себя к уходу, – истинная красота и гармония всегда были целителями страждущей души. Никто ведь еще не выяснил, почему человек в детстве и ранней юности летает во сне, летает упоенно и самозабвенно, словно попав наконец-то в свою подлинную родную еще до появления на свет стихию, и почему он, повзрослев, торопится вновь обзавестись детьми, чтобы и в них продолжить ощущение полета и свободы от земли, почему он возводит рвущиеся в небо храмы, как бы невесомые и бестелесные, готовые вот-вот, если бы не удерживала их беззаветная и трудная любовь человека, тут же взлететь ввысь и раствориться в безмерном пространстве, свободном от ненависти и боли. И недаром же с теми, кто безоглядно верит, про-

исходят необъяснимые чудеса, не соразмеренные никакой формулой удачи и везения, потому что формула чуда еще не открыта и никогда не будет открыта, ибо после этого тайна чудесного самоуничтожится. И в мире издревле идет непримиримая, беспощадная борьба между людьми, рожденными с тайной в душе, заставляющей их летать во сне, мучиться вечным зовом неба и страдать, возводить светоносные храмы и рожать подобных себе сыновей, зачатых от начала тоже с тайной чуда, и теми, кто ненавидит любое желание оторваться от земли, оторваться от себя в стремлении совершить чудо; у таких людей обязательно заложена, тоже от начала, какая-то чернота в крови и душная тьма в сердце, они боятся света и редко выходят под солнце, чтобы не высветилась истинная их сущность; это люди ночной и всегда тайной жизни, не верящие даже самим себе, и оттого от них в мире распространяется зло. И в самом деле, отчего один умирает, споткнувшись на ровном месте, а другой, срываясь с отвесной горы, с головокружительной высоты, остается жив и даже невредим?

Храм возносился в самой середине земли и в сердцевине Москвы, и в особые, неизвестные непосвященному дни он становился, многократно отражаясь в пространствах неба и реки, виден далеко окрест со всех рубежей русской земли; храм зарывался своим подножием в древнюю землю московского Чертолья, хранящую тайны многих веков, изрытую давно заброшенными ходами; здесь в любом, мрачном, полуосыпавшемся подземелье, которых достаточно сохранилось в этих местах и в наши дни, еще бродят кровавые, не обретшие покоя и до сих пор тени Ивана Грозного или Малюты Скуратова; здесь в его глухих узилищах каленым железом, палаческим кнутом да дыбою, под хруст боярских костей созидалась и приращивалась плоть и сила Руси; здесь взятые в железа и распятые на каменных склизких стенах усыхали и становились прахом спесь и земное честолюбие, и светоносный храм легко и воздушно возносился здесь на крови и прахе прежних поколений, дабы вечно возвещать истину о несокрушимости русского духа в ратоборстве, в защите отчей земли, в творческой мощи созидания и строительства, в высокой духовности помыслов и предначертаний грядущего. Устроительством храма, несмотря на его громадные, казалось бы подавляющие размеры, стройно и мягко уравнивалась и усиливалась стрельчатая, многоглавая, рвущаяся ввысь панорама самого Кремля; по большим праздникам, в дни поминовения в храме помещалось до пятнадцати и двадцати тысяч человек, и каждый мог написать на его стенах дорогие имена, никем это не возбранялось. Облицованный бело-розовым мрамором и гранитом, покрытый на своих пяти главах золотом, храм невесомо парил над всей Москвой с ее густыми улицами и холмами, был виден далеко окрест, верст за двадцать и более, блистая в ясную погоду своим центральным громадным куполом. Освещенный через верхние узкие окна, облицованный внутри до самых хоров гладким мрамором, по карнизу которого вдоль всего храма шел ряд стеариновых свечей, – храм был особенно возвышен и строг и полон какого-то особенного настроения в момент, когда соединяющий свечи белый фитильный шнур загорался от поднесенного соборным сторожем на длинной палке огня. Огонек бесшумно и быстро перебегая от свечи к свече, словно от одного, уже ушедшего, поколения к другому, то ниспадая в пространстве между свечей, то отражая бег неумолимого времени в зеркальном пространстве мраморных стен, – храм являл собою реализовавшуюся наконец соборную мощь России – прошлое, настоящее, будущее ее народа – устроителя огромной и трудной земли, народа-воина, сумевшего отстоять, оборонить свою землю, народа-творца, стремившегося воплотить в храме высочайшую гармонию своих духовных устремлений, ощущение прекрасного в самой своей трагичности и вечности бытия. Целый пласт русской национальной культуры, казалось навечно впечатанный камень, мозаику, золото, иконопись, фрески, отразил мощный поток всей русской истории.

Казалось, храму стоять вечно. Тысячи землекопов и лошадей выбирали и вывозили землю из котлована вплоть до твердого, материкового основания, искуснейшие каменщики клали столбы, стены, пилястры, употребляя при этом вызревавшую годами в закрытых творах известь на яичном желтке; вдохновленные художники расписывали своды, стены и арки



больших и малых врат, оконные арки порталов, углы храма, паруса несущих столбов и ниши пилонов; художники своими творениями свидетельствовали этапы становления Руси, ее воинского и строительного подвига с самого ее начала; скульпторы украшали храм множеством наружных и внутренних горельефов, устанавливая и укрепляя их мраморами и специальными железами, заливая их от порчи водами жидким свинцом. Только на исполнение горельефов понадобилось семнадцать лет...

Наступила майская ночь перед открытием храма, тускло отсвечивали все двенадцать запертых бронзовых дверей, замерли колокола в куполах-колокольнях, большой, торжественный, призванный благовестить земле радость жизни, праздничный, воскресный, палиелейный, должный славить высший промысел, будничный, призванный веселить и укреплять человека в работе и вере, и все остальные вместе, сливающиеся в согласном многоголосом хоре, в торжестве жизни перед небытием. В легком серебристом звездном сумраке, разливавшемся по всему беспредельному пространству храма (в храме сейчас совершалось таинство воссоединения и укрепления всей Русской земли), проступили бесчисленные неясные тени ратников, заполнившие огромное, ставшее беспредельным пространство храма, они сошлись сюда из дали времен с копьями, мечами и щитами, с истлевшего железа на цветные мозаики из Лабрадора, шохонского порфира и цветных итальянских мраморов, выстилавших пол храма, падала густая ржавая роса и драгоценные мозаики начинали розовато светиться изнутри. Каждый на своем месте проступил из темноты: и Александр Невский, и преподобный Сергей Радонежский, благословляющий на битву великого князя Димитрия, и стоящих позади него Пересвета и Ослябю с мечами и препоясываниями в руках, и просветитель России святой Владимир, и просветители славян святые Кирилл и Мефодий, и еще множество славных мужей, положивших деяния свои и души в основание Руси, неразнимаемым трагическим замком сковавшей Европу с Азией и возвестившей миру согласие веротерпимости... По нижнему коридору храма пробежала живоносная искра, и в нишах его стен отчетливо проступили на всех ста семидесяти семи мраморных досках золотые письма, повествующие о сражениях с французами, вплоть до взятия Парижа, с именами участников, получивших высшие награды, Георгиевских кавалеров, погибших и раненых офицеров и, как всегда, безымянно сообщающие общее число выбывших в каждом сражении нижних чинов. И тогда, неизвестно кем зажженные, замерцали бесчисленные свечи по всему храму, а в его колокольнях началось движение воздуха, тихо и ровно загудели колокола – каждый вплетал в общее звучание свой голос. От крестов и до гранита ступеней, ведущих к дверям, и ниже, к реке, храм исполнился тихого, ровного света и словно белый, теплый пламень облил его. Стали видны несметные сонмы ратников, не уместившихся в самом храме и стоявших в сомкнувшихся рядах и бесконечных порядках вокруг него в своих дружинах, полках и ратях, занявших из края в край все видимое пространство земли вокруг, и подходили еще новые и новые, и не было им числа, и это было памятью самой земли. Когда к Москве подступил майский рассвет, храм уже был каким-то иным – его золотые купола, первыми загоревшиеся над Москвой в предвестии нового дня, тихо плыли в недостижимой высоте, – храм уже был приобщен к высокой и светлой тайне, переданной ему на вечное хранение самого народа, вознесшего его над Москвой и землей, дабы народ не заплутался во тьме, не истощилось бы его чрево и его дух, не погиб бы он, не видя больше света впереди. Святое и великое рождается и происходит в тишине и тайне – никому неведом завтрашний день и самые вещие письма запечатлены во мраке грядущих времен...

И поэтому, когда над Москвой утром впервые ожили и заговорили колокола храма, возвещая так долго ожидаемый для всего русского народа момент, шпалеры войск выстроились от самого Кремля, от Боровицких ворот и до храма по набережной Москвы-реки, и далее вокруг храма; когда прибыли депутации от прославленных в войне полков, от казачеств Донского и Оренбургского, от всех губерний, снаряжавших народное ополчение, депутации от Москвы и Бородин, от городов, в которых происходили сражения, от Витебска, Кобрина, Красного, Смо-

ленска, Вереи, Малоярославца, Вязьмы, Дорогобужа, Несвижа, Волковыска, Минска и Ковно и деревни Студянки; когда во время литургии, крестясь, утирали украдкой скупые слезы уцелевшие в немногом числе седые ветераны с медалями Отечественной на мундирах; когда наконец прибыл сам император Александр III и двор, и храм, окруженный снаружи широким помостом, обитым красным сукном, заполнило духовенство с хоругвями всех церквей Москвы; когда неисчислимые толпы ликующих и просветленных высокой минутой москвичей и гостей со всех концов России, крестясь и любопытствуя, затопили обе набережные и все прилегающие к храму свободные площадки, улицы и переулки, то все это и многое другое было уже лишь продолжением ночного таинства.

Преосвященный Амвросий Харьковский по окончании божественной литургии в своем обращении к народу напомнил слова пророческие, сказанные Иисусом Христом апостолам: «Я послал вас жать, над чем вы не трудились, а вы в труд их вошли», и это были слова заповеди не только императору и царствующему дому, но и всему народу о том вечном законе жизни, что все, вновь приходящие, наследуют созданное трудами их отцов, а затем возвращают долг свой сыновьям. И не оскудеет в народе вера в добро и в высшую справедливость, и касается она и монарха, помазанника Божьего, самого первого человека в государстве, и самого сирого и убогого – таков закон человеческий и воля космоса.

Стоял храм в центре земли, шли к нему из года в год стар и млад со своим горем и со своей надеждой, из года в год писалась незримая вечная книга времен, переворачивались ее страницы, жил народ, загорались и гасли свечи в храме, начинались и кончались войны, приходили и, отбыв свой срок, уходили поколения, сыновья сменяли отцов, внуки дедов, рождались люди с гордыней и алчностью в крови, шли по жизни, слепые от сытости, пиная умирающих от нищеты и болезней, и уходили люди такими же нагими, как и пришли, и провожали их проклятиями и стонами, А храм стоял, потому что каждый из приходящих на землю жаждал в душе вечности, и не было человека, не подвластного чувству красоты.

Гремели революции, замордованные, озверевшие, обманутые толпы, упиваясь силой ненависти, в слепом ожесточении поражали друг друга, сын убивал отца, брат брата, писатели с упоением описывали это как очищение; Россия из края в край покрывалась гноем, распадалась связи столетий, воды рек текли, отравленные трупным ядом революций...

А храм стоял, овеваемый всеми ветрами, бушевали зимние метели, почти скрывая его, опять приходили весны, солнце играло в его золотых куполах, и, хотя внешняя жизнь в нем совсем прекратилась, большинство его служителей уже были убиты или сосланы на медленное умирание в Соловецкие лагеря, его внутренняя, нематериальная жизнь не замирала ни на минуту; невидимые связи прорастали все гуще и глубже в толщу народа, лучшие силы которого были разметаны жестокими ветрами по лику земли и тоже были обречены. Распятая Россия проводила бесноватые двадцатые, и потекли, набирая свой тяжкий и непредсказуемый бег, тридцатые, уже в самом начале заставившие мир оцепенеть.

А храм стоял, впитывал в себя необозримых пространств боль, страх, безмерную кровь и еще более безмерное горе, его мраморы и купола темнели, у колоколов его вырвали голос, они онемели, но не умерли – храм был памятью, верой народа, но даже эта его безмолвная жизнь раздражала и вызывала яростную ненависть.

И вот однажды, в самом начале осени, недалеко от храма остановились пять легковых автомашин; из них не спеша, с хозяйской гибкой ленцой, но цепко, не пропуская ни единой мелочи и частности, вышла охрана в штатском и незаметно заняла положенные ей места и точки; народу вначале казалось много, люди рассматривали и сверяли планы и карты, оживленно обсуждали их и даже спорили; позднее, во второй половине дня к храму подкатило еще несколько автомобилей уже более высокого ранга и опять с охраной, теперь густо оцепившей храм полностью; особая спецгруппа тщательно, не торопясь, по военному четко просмотрела все внутренние помещения храма. Сталин и Каганович, негромко переговариваясь, время от

времени останавливаясь, обошли вокруг храма; Каганович напористо и весело объяснял, энергично жестикулируя и указывая на отдельные части храма, и даже издали было видно, как он напряжен. В своей обычной одежде, – в куртке и сапогах, без фуражки Сталин осматривал купола и горельефы храма, слегка шурился, ветерок трепал его густые, сильные, с проседью волосы – он их изредка, с удовольствием крепко приглаживал ладонью. Как никто другой сейчас, он понимал и желание Кагановича быть убедительным, и тем более именитых авторов проекта Дворца советов Иофана, Щуко и Гельфрейха, с которыми он накануне обстоятельно и долго беседовал, придирчиво вникая в их грандиозный, дорогостоящий замысел; но вместе с тем он отлично, в подробностях, знал другое, и в нем, как и всегда, шла непрерывная, нелегкая внутренняя работа: он взвешивал, анализировал, отбрасывал аргументы один за другим, вновь возвращался к отброшенному, и даже Каганович, считавший, что он хорошо знает Сталина и во многом влияет на него в полезную для дела сторону, не знал этой напряженной внутренней работы Сталина и думал, что хозяин сейчас доволен и со всем предстоящим согласен, хотя это было далеко от истины. Вот Сталин действительно исчерпывающе знал Кагановича и стоявшие за ним силы; за власть, тем более за безоговорочную, нужно уметь платить; окружающая его банда заставляла его спешить, бросаться из одной крайности в другую, и он хорошо понимал, что им, никогда не сталкивающимся с опытом управления огромной страной, необходимо держать народ в оглушенном, заторможенном от постоянного страха состоянии; но это же самое нужно и ему самому, нельзя дать пароду опомниться, прийти в себя и начать разбираться во всем случившемся; варварский план Кагановича, вызревший на зоологической ненависти к культуре и истории русского народа, вполне приемлем и, возможно, даже необходим, хотя, конечно, начинать генеральную реконструкцию Москвы, имея в кармане шиш, – политическая авантюра, игра, преследующая далекие, тайные цели; и опять, хочешь не хочешь, в эту игру надо включиться и даже поддерживать ее...

– Коба, а может, не заходить? – не совсем решительно спросил Каганович, останавливаясь у тяжелой бронзовой створки врат западной стороны, кем-то уже услужливо распахнутых для прибывших вождей. – Тебе надо отдохнуть, вечером...

– Я сам знаю о своих делах вечером, – оборвал Сталин. – Можешь подождать или уехать, если дела торопят.

– Коба...

Не слушая больше, Сталин не спеша шагнул в слабо освещенное ясное и мягкое пространство храма, залитое сеющим из бесчисленных окон главного купола светом; за ним прошел и Каганович; едва шагнув в дверь, он, взглянув на Сталина, бывшего без фуражки, тотчас снял свою, открывая уже внушительную пролысину со лба до затылка, и все время, пока они находились в храме, держал ее в руке; он, хотя и уловил насмешливый взгляд Сталина, только переложил фуражку из одной руки в другую. Сейчас, несмотря на самоуверенный и по-прежнему спокойный вид, он, сильно озадаченный, старался не пропускать даже самой малости в поведении хозяина; это был один из непредсказуемых поступков Сталина, и его нельзя было ни вычислить, ни предугадать. Действительно, зачем хозяину было приезжать сюда самому, отказаться от сопровождения, от пояснений специалистов; пожалуй, скорее всего, это один из очередных непонятных и жутковатых спектаклей с его стороны, и сейчас важнее всего сохранить спокойный непринужденный вид, воспринимать происходящее совершенно естественно, идет обычная, повседневная, трудная государственная работа, с ее кровью, потом и грязью, хозяин волен поступать, как ему угодно.

Медленно пройдя нижним коридором мимо бесконечного, казалось, ряда мраморных плит, в хронологическом порядке излагающих сражения русских войск с французами, Сталин с Кагановичем вышли из-за алтаря под большой купол храма, и Сталин остановился. Главного иконостаса уже не было, кое-где у стен громоздились уродливые и чуждые царящей здесь гармонии как бы уносящегося ввысь почти беспредельного пространства грубо сколоченные

леса, над ними зияли безобразные пятна штукатурки, оставшиеся после снятия фрагментов из настенных росписей; разрушение уже началось, и Сталин почувствовал раздражение. Подняв голову, он долго смотрел на распростершего руки по всему подкуполью Саваофа, окруженного сиянием и клубящимися облаками. От непримиримых глаз грозного Бога, пронизывающих любую твердь, устремленных, казалось, прямо в душу, перехватило дыхание, от напряжения он почувствовал шум крови в висках. В то же время в нем поднималась и какая-то мутная волна неуверенности перед предстоящим свершением. Шевельнулась и зависть; все здесь, возносясь к небу, безжалостно отторгало его от себя, от какой-то чистой, божественной красоты, правда уже оскверненной начавшимся разрушением. Такую красоту и божественную соразмерность могла создать только истинная вера в совершенство человека; именно в этот момент в его замкнутой, вечно настороженной от постоянной безжалостной борьбы душе сверкнула какая-то святая искра, и он поймал себя на том, что ему захотелось перекреститься. Он с трудом оторвался от всевидящих глаз Саваофа и стал смотреть на лик Сергия Радонежского, благословляющего в одной из ниш великою князя Московского Димитрия перед Куликовской битвой. В нем продолжало расти непривычное, расслабленное и угнетающее его чувство своей непричастности к этому стройному, продуманному миру святости и чистоты, в то же время в нем происходили уже некие неподвластные ему смещения. Каганович, давно изучивший привычки хозяина, обладающий в его отношении какой-то повышенной звериной чуткостью, тихо спросил:

– Хочешь побыть один, Коба? Хотя, пожалуй, я спросил глупость, прости...

– Здесь никого больше нет? – поинтересовался Сталин, невольно понижая голос, зазвевший в пустом пространстве храма ясно и как-то по-молодому звучно.

– Мне дважды повторять не надо, Коба, – напомнил Каганович вполголоса. – Отвечаю головой...

– Подожди меня за дверью, – сказал Сталин и, оставшись в одиночестве, долго стоял, привыкая, все на том же месте, пытаясь вспомнить что-то далекое и дорогое, сам не понимая, что с ним происходит и почему он тратит время впустую. Затем глубоко в душе зазвучал тихий, грустный, родной, давно забытый мотив, глаза посветлели и заблестели; простенькая, полузабытая грузинская песенка о пахаре и земле пробила в нем, и он понял, что стоит где-то у края бездны. И другие слова, уже не о земле, не о сладком сне наработавшегося молодого пахаря, стали рождаться и звучать в душе Сталина; он даже тихонько бормотал их вслух, запоминая; это были слова о храме и о нем самом, о минуте взаимного согласия и прощения ради будущей веры людей и будущей их любви, этого никто не мог понять, кроме самого, уже обреченного храма и его, Сталина, без колебания бросившего на весы истории себя и свою великую веру. «Храм, храм, храм, – бормотал он, – вечный храм неба, но человек выше храма, выше Бога, ведь без человека немыслимо бессмертие, только человек может ощутить сладостную пытку бездны».

Внезапно туго натянутая струна оборвалась, и показавшееся ему открытием и даже откровением отступило; вот теперь действительно остались на земле только храм и он сам, совершенно от всего свободный; опал груз трудной, упорной, глухой, лишь сосредоточенной на самой себе, жизни, все же остальное, что он пережил и, главное, что он знал, исчезло и не стало ни мучительных внутренних неурядиц, ни возни с ордами голодных, неустроенных людей, ни необходимости тащить на себе свору пророчествующих паразитов, сплетающихся в змеинные клубки оппозиции и заговоров, ни этой невидимой, легкой и самой прочной на свете сети, брошенной на него с его же согласия, из которой ему так и не удастся, видимо, теперь выбраться до самого конца, – необходимо не забывать судьбу Ленина, одна отравленная пуля – вот и кончена гениальность. Исчезло сейчас и то, приводящее его в ярость, ощущение, что им управляет кто-то невидимый, держа за свой конец нитки, что он всего лишь кукла и приходится безоговорочно подчиняться... и он даже, пожалуй, знает своего кукловода, он даже смог

бы избавиться от него одним неоглядным ударом, но сколько после этого отпущено господом Богом ему самому? День, неделя? Ну, может быть, месяц...

Пьянящее чувство безграничной свободы, ни заседаний, ни Троцкого, ни Европы с ее головоломками, с ее социал-демократизмом, пляшущим на такой же тонкой, прочной нити... Только он сам и храм, приговоренная к небытию красота.

И теперь ему уже хотелось еще большего, еще более полного слияния с возносившимся в строгой гармонии творением, с гармонией магических чисел, рассчитавших и утвердивших плавные, округлые, переливающиеся друг в друга, как сама жизнь, формы.

В какой-то, по робости и наивности, детской надежде быть понятым и услышанным, он подал голос. Храм молчал, ни отзвука в ответ, и он понял, что храм не принял его, отверг, и тогда, бросая вызов враждебному окружению, он крикнул громче – глухая, стылая тишина храма даже не дрогнула. Все время ощущая на себе пронизывающий взгляд из подкуполья, он, несмотря на охватившее его предостерегающее чувство опасности, понимая нелепость происходящего, но подчиняясь безрассудной бунтующей, переполняющей его силе, вновь впился сузившимися рыжими зрачками в огненные, беспощадные глаза Саваофа. Расплавленными сгустками падали минуты, выжигая в душе последнюю надежду на чудо, на прощение – Бог не хотел и не мог уступить, всеведущий взгляд Бога, казалось, свободно проникал в тайная тайных мрака одинокой души, куда никому в никогда не разрешалось даже приблизиться, и Сталин, маленький, почти неразличимый в величественном пространстве храма, в одну секунду покрывшись холодным потом, не выдержал. Скверное, хриплое ругательство сотрясло его самого бессильной ненавистью, и он, заслоняясь, поднял руку, вытер бледный лоб а затем, не решаясь больше искушать судьбу, что-то недовольно и зло пробормотал, теперь уже в адрес Сергия Радонежского, и, заставляя себя не торопиться, пошел к выходу, ощущая почти непереносимо острое желание поскорее выбраться, выбежать из этого давящего замкнутого пространства. Он даже не понял сначала, что пошел другим путем, и дверь оказалась закрытой; он в растерянности остановился, и мысль о предательстве, о том, что его просто хотят взорвать вместе с храмом, сразу пришла к нему. Он замер, осматриваясь. По полу в разных направлениях бежали электрические шнуры. Не торопясь, каждую минуту опасаясь оступиться, задеть что-нибудь опасное, он неуверенно двинулся в другую сторону и вышел к главным воротам. Они тоже оказались закрытыми. Он в недоумении остановился, ему послышался чей-то мучительно знакомый голос, уже когда-то слышимый, – он не мог спутать его ни с каким другим. Голос советовал ему идти прямо на старое место под главный купол, затем в заалтарную часть и налево. Сталин мог бы поклясться, что голос раздался наяву, по крайней мере, он не раз слышал его раньше. С тихой улыбкой, какая может появиться у человека, лишь когда он твердо уверен в своем полном одиночестве, Сталин пошел в указанном направлении и едва свернул в проход, ведущий в заалтарную часть, увидел рванувшегося ему навстречу Кагановича.

– Коба! Прости, так долго!

– Я сказал ждать меря за дверью, – медленно, борясь со взглядом Кагановича, напомнил Сталин. – Что-нибудь случилось?

– Ничего, я не мог больше ждать. А если бы...

– Никаких «если бы» не может быть и не будет, – отрезал Сталин, все-таки заставляя Кагановича опустить глаза. – Слышишь, Лазарь, ведь это все – тысячи лет. Как ты думаешь?

– Я думаю, Коба, главное – чтобы на тысячи лет вперед люди стали счастливыми, а это все никому не нужная рухлядь, засоряющая людские души. Мы выстроим свои дворцы. Кроме того, я же говорил тебе о кознях масонов... сам Новиков консультировал проект... А этот академик Тон, главный архитектор храма...

Не дослушав, Сталин коротко усмехнулся:

– Я все помню, ничего нового... Тебя с твоим родственником Иофаном можно лишь приветствовать за смелость и принципиальность, – в голосе у хозяина появилась какая-то непри-

вычная раздумчивость, и Каганович еще больше насторожился. – Масоны строили храмы по всей Европе, по этой причине их до сих пор никто не взрывает. Ты, кажется, из бедной еврейской семьи, Лазарь, – спросил он после паузы, – Из киевской деревни Кабаны?

Каганович понимающе улыбнулся.

– Жизнь научила меня многому... научила быть и безжалостным, если нужно революции. Зачем нам в центре Москвы ритуальный масонский знак? Что касается родственников...

– Ты сейчас полон ненависти, – сказал Сталин примиряюще. – Я, Лазарь, понимаю, твоя ненависть нужна народу и Советской власти. Одно не годится: вокруг тебя слишком много бывших бедных евреев из малороссийских деревень... Неправильный подход к большому делу. Этот храм должны уничтожить сами русские... И несмотря на масонов.

– Коба...

– Ты, кажется, не все расслышал, Лазарь из деревни Кабаны? – спросил Сталин со своей особенной улыбкой, изрытые оспой мясистые щеки потянуло к вискам.

– Что ты, Коба! – заторопился Каганович. – Мы все учли. Здесь даже главный инженер, взрывник – Иванов Иван Павлович. А комиссар спецгруппы – сын московского купца Тулич, православный, человек проверенный, преданный делу революции... Фанатик. Свой.

– Хорошо, хорошо, – хмуро оборвал Сталин и, не оглядываясь, почему-то не решаясь оглянуться, первым двинулся к ожидавшим поодаль автомобилям; солнце уже ушло куда-то за Москву, но купола храма еще ослепительно горели, словно все больше раскаляясь в закатном огне. Сталин так и не оглянулся. Москву бесшумно накрыла короткая майская ночь с неожиданной быстрой грозой, и отблески молний острыми зигзагами отражались в куполах храма. Откуда-то из тьмы вышел и приблизился к главному входу в храм заросший до самых глаз сумасшедший монах, весь в мокром, облепившем его рванье. Он что-то бормотал, затем, опустившись на колени и низко склонившись, поцеловал гранит и долго, до завершения грозы, молился и продолжал бить поклоны. Затем и он исчез. Храм остался в беспредельном одиночестве. Никогда больше не ожили, ликуя или тревожась, его колокола, никогда больше не осветили его стен теплые огни свечей, не потревожило благозвучное славословие. Храм был обречен.

И тогда вокруг храма и в его коридорах, хранилищах, притворах, на хорах и в алтаре, на его клиросах и папертях, во всех его иконостасах и пределах началось тайное воровское движение, хотя все самое дорогое, ценное и подъемное уже было давно вывезено и навеки утрачено. Приоткрывались то одни, то другие бронзовые двери, из храма исчезла последняя драгоценная утварь, расшитые золотом, серебром и камнями хоругви, плащаницы; выламывались из своих гнезд дорогие иконы, пропадали дары и тяжелые от золота и украшений древние книги. Наконец, за океаны уплыл распиленный главный иконостас храма, проданный за гроши; оголяясь изнутри, храм, сопротивляясь, начинал все трагичнее и пронзительнее звучать под московским небом, особенно после снятия его крестов и волоченной кровли куполов.

И тем больше взоров и сердец он продолжал притягивать к себе; и в непогоду, и в летние долгие дни на его широких ступеньках, низко спускающихся к воде, розовых от предзакатного солнца, по-прежнему собирались люди; храм, несмотря ни на что, продолжал оставаться местом паломничества, здесь любили бывать совершенно бесцельно, обретая покой, смотреть в текущие воды реки, в летящее небо над куполами, на все еще кое-где поблескивающую позолоту.

Пришла зима, в голодной, замерзающей столице пронзительно выли метели. Извозчиков уже начинали потихоньку вытеснять автомобили, все безжалостнее сносились старые купеческие районы и русский ампир аристократических кварталов; Москва уже собиралась тихонько, по-черному, без елок и радужной новогодней канители встретить подступающий Новый год, а затем и Рождество. Часто гремели глухие взрывы, в густых клубах дыма и поднятой пыли рушились целые переулки и улицы. А как-то, взглянув на близлежащие к храму Волхонку и

Пречистенку, жители увидели, что храм окружен сплошным высоким забором с предохранительным козырьком наружу. Темные слухи, один зловещей другого, волной накрыли Москву, слухи переносились мгновенно, за ними не могли уследить самые рьяные службы сыска и пресечения, устрашающе разросшиеся в последние годы; вокруг забора засвистели, заплясали декабрьские вьюги; заканчивался, повитый кровью и голодом, тридцать первый, и подступал тридцать второй, еще неведомый, но уже окрещенный моровым годом, над страной заплясали апокалипсические видения.

Студент Иван Обухов, освобожденный от занятий по случаю похорон скоропостижно скончавшегося отца для устройства семейных дел, торопливо шел знакомым с детства переулком; да, теперь им с матерью пришлось уплотниться из трех, оставленных им в восемнадцатом году комнат в одну большую, бывшую гостиную. С помощью нового, многодетного соседа-слесаря Иван соорудил в гостиной невысокую переборку из фанеры, оклеив ее с двух сторон обоями, чтобы мать, сразу рухнувшая после похорон мужа, имела свой уединенный угол; Ивану было жалко мать, уютную, домашнюю женщину, жившую только мужем и сыном и теперь пытавшуюся зарабатывать вязанием теплых носков и молодежных береток, входивших по своей дешевизне и простоте изготовления в те годы в моду. Но не мать и не бытовые неурядицы едва не свалили самого Ивана, а неожиданный уход отца, во всем бывшего для сына примером; это был редкий случай, когда сын с отцом как бы представляли нечто единое в духовном плане, они любили одни и те же книги, один и тот же балет, могли часами рассуждать, спорить о воззрениях русских философов-космистов, все больше о Федорове, пытались в его фантастическом идеализме нащупать иные, еще неизвестные ныне формы существования материи и тем самым понять и оправдать, разумеется, чуждые прагматическому марксизму или приземленности ленинизму философские, истинно космические концепции бытия; не менее страстно обсуждали они русскую философскую мысль девятнадцатого века, ее раскол, наметившийся еще с переписки Гоголя, и тут само собой перекидывался мостик еще глубже – к Аввакуму и Никону, к живоносному «Слову о законе и благодати»; Тютчев почитался у них как философская космическая вершина среди всех остальных поэтов; оба они еще и еще раз убеждались в непрерывности и закономерности течения жизни, грубо разрываемой у них на глазах новейшими декретами, самонадеянно объявлявшими, что все в природе и бытие человека начинается заново, практически с нуля, что наработанная тысячелетиями культурная и философская субстанция человечества отменяется, отменяются и Бог и небо, и главным становится идея превращения человечества в одномастное стадо с генеральным планом его казарменного процветания отныне и вовеки веков. Подобное можно было бы принять за бред, за навязчивую идею неизлечимого шизофреника, если бы оно не утверждалось на глазах у всего мира огнем и кровью, невзирая на любые жертвы и разрушения...

Отец страдал от варварства, как он решительно выражался, творимого в Москве новой властью, иногда не выдерживал, срывался, и тогда между отцом и сыном возникало некое отчуждение; отец был слишком резок и категоричен в оценках. Сейчас глуховатый голос отца, оживши, мучил Ивана, но это мучение было необходимой, утешающей болью.

«Шайка, самая настоящая шайка авантюристов и демагогов, – размеренно и четко говорил отец, теребя бородку. – Обманом захватили власть в огромной стране, ненавидят и презирают все русское, ненавидят саму эту землю, а она ведь поит и кормит народ! Он возрос на этой воде, на этом хлебе! Они воплощают чужеродные теории на русской почве – результаты больше чем уродливы, результаты катастрофические для здоровья народа!»

«Послушай, папа, не впадай в крайности. Нельзя же отрицать правомерность и необходимость революции...»

«Революции? – взвился отец. – Ты говоришь – революции? Лучше скажи – вражеская оккупация, тотальное разрушение культуры, истории поработленного народа! Позор! Позор!»

«Успокойся, пожалуйста...»

«Даже Москвы не пожалели! – прервал отец, теперь уже ожесточенно терзая свою бородку. – Объявили столицей мира! А кого спросили? Тебя? Меня? Соседа? – Отец ткнул пальцем куда-то за спину себе в степу. – Русский народ спросили? Черта с два! Превратили прекрасный город в чудовищную казарму, просматривается из конца в конец с кремлевской вышки. Концлагерь! А кого спросили?»

«Право, успокойся, папа... Нельзя же так, у тебя только вчера было плохо с сердцем...»

«К черту сердце!»

Иван шел по Москве в легком, почти без подкладки длиннополом пальто, замотав шею толстым, теплым шарфом, связанным матерью, без перчаток и шапки, и, несмотря на довольно сильный мороз и ветер, не чувствовал холода; он вспоминал и думал, и перед ним неотрывно стояло лицо отца. И не такое, каким оно было в гробу, успокоенное и вечное, удерживающее от себя на почтительном расстоянии, а живое, с небольшой профессиональной бородкой, с умными, живыми глазами, с каким-то «сюрпризом», как любил говорить старший Обухов, намереваясь озадачить младшего неожиданной мыслью или догадкой по тому же Федорову или, на худой случай, по эсхатологическому устремлению русской души Бердяева... «Ах, отец, отец, – подумал Иван, а вернее, словно кто-то посторонний больно шевельнулся в нем и коротко простонал: – Зачем? Как же нелепо! Как же зря!»

Младший Обухов всегда был честен в проявлении своих чувств и привязанностей, это сыграло потом не такую уж и положительную роль в его судьбе – ученого и человека; он и сейчас, бесцельно бродя по начинавшей обледеневать Москве, и, уже выйдя на набережную, поднявшись куда-то по заснеженным широким ступеням, вдруг уткнувшись в высокий забор с широким козырьком поверху, растерянно остановился. Дальше идти было некуда, ему уже что-то громко и зло кричали от угла забора; к нему бежал солдат в жиденькой шинелишке, в сапогах и с длинной винтовкой, запретительно махая рукой, приказывая ему отойти от забора и следовать дальше своим путем. Было странно и больно и страшно, но именно в этот момент, он, кроме саднящей, кровоточащей утраты, почувствовал и освобождение от отца; в нем словно все разделилось надвое, и тогда он сказал себе, что это черное и страшное чувство скорее всего оттого, что теперь уже впереди никого больше нет, теперь только он сам остался впереди.

– А ну, гражданин, проходите! – запыхавшись, почти прокричал ему подбежавший солдат с заиндеветыми бровями и ресницами, с явным недоверием глядя на обнаженную голову, на пунцовые уши, нелепо торчащие над шарфом странного прохожего в легком длинном, каком-то поповском пальто. – Здесь нельзя, закрыто на ремонт!

– Пожалуйста, – равнодушно сказал Обухов. – Я что-нибудь сделал не то?

– Проходи, проходи! Здесь задерживаться нельзя, – вновь потребовал караульный, и в тот же момент к Обухову с другой стороны подошел уже старший, весь в коже, в ремнях и с маузером на боку, с узким лицом – из-под козырька теплой, с наушниками фуражки льдисто светлели острые глаза.

– В чем дело? – спросил узколицый, обращаясь больше к караульному, чем к Обухову, одним взглядом окидывая, словно фотографируя, нелепую, длиннополую фигуру студента.

– Да вот, товарищ Тулич, пришел и стоит...

– Простите, ничего я не пришел и не стою, – счел нужным пояснить Обухов. – Просто я часто здесь ходил, а теперь здесь забор. Вот и все...

– Придется обойти, – коротко бросил Тулич, – вот направо по набережной и дальше.

С молчаливой иронией поблагодарив за дельный совет, Иван пошел по ступеням вниз и уже с набережной оглянулся; караульный и его начальник в крепкой, подбитой чем-то теплым коже продолжали смотреть ему вслед, а вверху в метельном, ветреном небе, в разрывах туч над забором возносилась громада храма, в снежных вихрях в облаках угадывался его изуродованный верх. И тогда усилившееся до какой-то пронзительной ноты чувство утраты обожгло Ивана, выдавило на глаза слезы, и он, отвернувшись от ветра, опасаясь еще раз оглянуться,



почти побежал прочь, нырнул в первый подвернувшийся переулок, затем в подворотню и опять оказался во дворе, забитом народом и военными – жителей всех близлежащих домов на время эвакуировали. Плакали дети, переругивались с милиционерами женщины; затаившиеся, но так и не сломленные московские старухи, обмотанные платками, крестились и грозились страшным судом; какой-то взвинченный нервный старик в пирожке и пенсне неожиданно остановил Обухова, когда тот проходил мимо.

– Вандалы! Вандалы! – прошипел он и без того растерянному студенту. – Поистине, диавол явился в мир!

– Простите. – Студент протиснулся в темный, залеженный мусором дворовый проход, по прежнему видя перед собой беспощадные, льдистые, безоговорочно обрекающие глаза военного в коже, глаза явно нездорового человека, и продолжал их помнить долгое время, и через неделю, и через месяц, пока повседневная жизнь, ее заботы, молодость, горячие схватки на факультете не вытеснили из памяти эту тяжелую мимолетную встречу на зимней набережной возле храма. Сам же Тулич, комиссар отряда особого назначения, тут же забыл о длиннополой нелепой фигуре студента, одного из бесчисленных московских жителей. До назначенного срока оставались всего сутки, и нужно было проверять все, вплоть до последней мелочи. Конечно, за техническую сторону дела отвечали другие, но и здесь необходимо было смотреть да смотреть; надежным людям из спецгруппы Тулича, знающим подрывное дело, особые инструкции предписывали находиться и при пробивании шпуров в теле храма, и при начинке их взрывчаткой, и при подводке детонирующих электрических шнуров, и при установке приборов для регистрации колебаний почвы во время взрывов.

Каждые два часа приходилось докладывать о выполненной работе и своему начальству, и Кагановичу, и когда, наконец, подошел срок, у Тулича, от почти недельного недосыпания, от каменной пыли и резкого зимнего ветра, была непрерывная резь в глазах, и он часто кашлял. Но теперь с каждой минутой близился намеченный час, и Тулич, стоявший недалеко от техника-подрывника, сделал шаг в сторону, стараясь не упустить из виду главный барабан храма; Каганович, тоже выбрав самую удобную для наблюдения точку Боровицкого холма, откуда хорошо просматривался и храм, и происходящее возле него, торопливо поднес к глазам цейсовский бинокль, неоднократно от нетерпения отлаженный. Главный купол храма, придавленный низким небом, резко рванулся к глазам, и Каганович, слегка невольно отшатнувшись, быстро повел биноклем, выправляя его, и стал опять неотрывно смотреть на купол; в этот самый момент техник, невзрачный, маленький, непрерывно шмыгая красным от простуды носом, вопрошающе оглянулся на Тулича, и тот, преодолевая в себе минуту странной слабости, взглянул на часы и кивнул. Словно обрадовавшись освобождению, техник торопливо повернул ручку взрывной машины. Почти тотчас верхние окна главного барабана брызнули осколками стекла, из нижних окон, выдавленных взрывом, поползли клубы тяжелой бурой пыли и дыма, но храм лишь слегка вздрогнул. Маленький техник, виновато покосившись в сторону начальства и отсморкавшись, стал подсоединять к своей неказистой машинке концы очередной линии проводов, помеченных вторым номером. Он нервничал, гримасничал, то и дело испуганно поглядывая на Тулича, шмыгал носом; через полчаса он вторично крутанул рукоятку своей машины. Теперь и Тулич, и расставленные вокруг храма в разных местах караульные, и даже Каганович на своем наблюдательном пункте на Боровицком холме, казалось сросшийся с биноклем, увидели тяжело вздрогнувший главный барабан – был подорван второй несущий столб. Из верхних и нижних окон опять выдавило густые клубы дыма и пыли, неровной лавиной потекшие вниз к основанию храма; взрывная волна ушла в глубины и пустоты древнего Чертолья, докатилась по тайным, давно заброшенным и забытым подземельным ходам до самого Кремля и теми же путями – к дому Пашковых. В одном из забытых древних подземелий от сотрясения просыпались со стены, сразу же обращаясь в прах, державшиеся в старых ржа-

вых железах, навечно замурованных в стенах, истончившиеся от времени человеческие кости; неведомая даль веков перекликалась с происходящим.

Храм не хотел умирать совсем, послышалось гудение его немногих уцелевших и теперь потревоженных колоколов. На окрестные улицы и дворы стал высыпать народ – дети, старухи, женщины, старики. Весть уже катилась по Москве, и везде, откуда был виден храм, появлялись люди, они выходили на балконы, прилипали к окнам домов, крестились и плакали. Среди белого дня, на виду всей Москвы, на глазах народа, рушили храм, воздвигнутый во славу отцов и дедов, во славу их обильно пролитой на ратных полях крови, – это подавляло окончательно.

Чувство скорби и мрака поползло над оскорбленной и обесчещенной Москвой, проникая сквозь все преграды и достигнув, наконец, самих инициаторов и исполнителей этого злодейского дела, заставившего ужаснуться просвещенный мир.

Предвидя нагоняй от самого хозяина, Каганович стал звонить и, подогревая себя, кричал в трубку о предательстве, о самых невероятных карах и наказаниях за саботаж, а затем и вовсе зашелся в дикой матерщине, к ужасу и без того потерявшего дар речи главного инженера «Союзвзрывпрома», ведомства уникального и архиреволюционного, призванного продолжить безжалостное разрушение отжившего мира российского и мирового мракобесия. Главный инженер, проклиная себя за недогадливость заболеть на несколько этих смутных и грозных дней, в ответ только нечленораздельно выкрикивал на разные лады: «Лазарь Моисеевич! Лазарь Моисеевич! Исправим! Сделаем! Лазарь Моисеевич! Исправим! Сейчас же исправим! Головы сниму!»

Когда Каганович бросил трубку, взмокнувшего с ног до головы главного инженера бил нервный озноб; еще большая растерянность и паника охватили непосредственных исполнителей. Простуженный техник наотрез отказался от дальнейшей работы; у него в одночасье обметало губы, веки покраснели и распухли, и разбираться в клеммах и проводах пришлось другим. Шли дорогие минуты, и на Боровицком холме уже опять появилась коротконогая черная фигура Кагановича с биноклем; за ним в почтительном отдалении толпилось еще несколько человек, пританцовывая от мороза и проклиная непокорный храм, все они, и помощник Кагановича по горкому, и начальник его личной охраны, и два консультанта, взятые на всякий случай, и трое связных, все, как один, в довольно высоких чинах, думали сейчас о своих неудобствах и с нетерпением ждали завершения и возможности разойтись и разъехаться по другим своим делам, и никто из них, в том числе и сам Каганович, и представить себе не мог, что рубеж этот будет отмечен всем человечеством как акт вандализма, что та самая партия, которую они провозглашали самой прогрессивной и передовой силой в мире, этим своим очередным деянием будет еще раз заклеимена как бессмысленная разрушительная сила и что народ, который они уже во многом обескровили и привели в нужное для своих целей покорное и тупое состояние и о котором они думали как о безропотном и безгласном строительном материале, но который все равно хранил в не доступных никому тайниках запасы сил на самый крайний, последний случай, хранил неприкосновенные возможности возрождения, никогда им этого не простит и не забудет. И никто из многочисленных изолгавшихся и тайно ненавидящих друг друга вождей и подумать не мог, что стихия народного бытия сама по себе являлась сокровенной тайной, что только сам народ, в отличие от любых гениальных теоретиков, как правило, бесплодных, генерирует и хранит в себе опыт подлинной, реальной жизни, и его душа развивается только исходя из гармонии и смысла личного национального опыта, и что любой человек, даже самый никудышный, с порочными началами, волей-неволей, но подчинен именно этому закону, и даже творя злые дела, действует согласно ему. Очевидно следует добавить, что именно вожди, залитые с головы до ног кровью, и не могли так думать – каждый выполняет то, к чему его подготовила жизнь, и ничего иного он сделать не может.

Твердо уверенный в несознательной симуляции, Тулич хотел арестовать заболевшего техника, но тот взглянул на него просящими, совершенно больными, страдающими глазами

маленького испуганного человека, и Тулич махнул рукой; подготовка к подрыву третьего опорного столба завершилась, и оставалось лишь повернуть ручку. Техник уже исчез, все вокруг стояли с тусклыми, напряженными лицами, стараясь не глядеть друг на друга. Мгновенно оценивая обстановку, стремясь к скорейшему освобождению от тягостного дела, Тулич подозвал пробежавшего мимо рабочего с веселыми, радостными глазами.

– Ну-ка, друг, давай поверни!

– Что повернуть-то? – переспросил рабочий с детской готовностью, теперь уже совершенно обрадованный вниманием такого высокого начальства и окидывая собравшихся быстрым взглядом.

– А вот ручку... ну, ну, давай, давай, – указал Тулич на взрывную машинку, и рабочий, с той же веселой, охотной улыбкой на лице, резво крутанул указанную железку. Глухой и сильный взрыв надсадно, изнутри, толкнул землю, застонавший огромный барабан храма, слегка накренившись во взлетевших вокруг него и выше его смерчах пыли и дыма, словно поддерживаемый ими, мгновение неподвижно висел в воздухе, и у Тулича замерло сердце. Барабан целиком, заваливаясь южной стороной, набирая скорость, уже рухнул с пушечным гулом, поднимая новые тучи пыли и дыма; заглушая шум города, пробился из земли и повис над Москвой долгий, затухающий стон, и тогда храм умер; близлежащая Москва болезненно вздрогнула, и Каганович на Боровицком холме в стремлении приблизить к себе происходящее возбужденно потянулся вслед за биноклем.

– Ух ты, как ахнуло! – глуповато восхитился рабочий, подняв жидкие светлые глаза на Тулича, и все еще по-детски, словно жалея отпускать подвернувшуюся забавную игрушку, поглаживал рукоятку взрывной машинки.

– История... Всего лишь вздох истории, парень, – тихо отозвался Тулич и, чувствуя тяжелую, валящую с ног усталость, шагнул к телефону докладывать. Он не успел, прибежавший из оцепления караульный громким сиплым голосом сообщил, что от взрыва завалился забор и на развалинах храма каким-то образом оказался поп, лезет выше и выше, не оглядывается даже на выстрелы. Бросив трубку, Тулич, тяжело топая, метнулся вслед за охранником; отмечая особым боковым зрением возникающие зыбкие человеческие ручейки и на той стороне набережной, и на этой, он, протопав по звонким, замороженным доскам лежавшего на земле забора, замер. Перед ним возвышалась еще дымившаяся бесформенная гора из изуродованных стен, столбов, железа, балок, створок врат, колоколов; главный барабан храма, сорванный силой взрыва и рассеявшийся при ударе о гранитный тротуар, лежал чуть в стороне. От стройного, величественного, божественного по своей гармонии здания осталась уродливая, перемешанная взрывами груда камня, и Иисус Христос, уцелевший в арке над средними вратами, посерел от пыли и смотрел в помутившийся перед собою мир уже ничему не верящим и ничего не выражающим взглядом. Надпись под ним «Азь есмь дверь», мгновенно выхваченная взглядом Тулича, еще больше ошеломила его, едва не пробудила дикий пароксизм смеха, но он тут же забыл об этом. Высоко на развалинах храма, на высоко торчавшем обрубленном взрывом столбе, над грудой обломков, искореженных металлических креплений темнела маленькая темная фигурка в развевающемся от ветра черном подряснике. Каким образом человек взобрался на совершенно отвесный столб и оказался на такой высоте, было загадкой. Ветер усиливался, летел сухой, редкий снег; человек в черном подряснике, с летящими длинными волосами простирал руки к городу и что-то кричал – ветер относил его слова в сторону.

Тулич полез по обломкам выше, сорвался, расцарапал руки и выругался. Человек на столбе проклинал растилавшийся перед ним город в его жителей, и всю землю вокруг этого адского города, предавшегося сатане. Подобравшись ближе, Тулич теперь хорошо слышал голос человека на столбе и хорошо различал его искаженное мукой, залитое слезами лицо. И человек, проклиная, теперь обращался к Туличу, которого он каким-то образом заметил среди развалин. Слова, падающие раскаленными сгустками и возвещающие гибель богомерз-

кой земли и погрязшего в скотской мерзости ее народа, тупо отдавались в мозгу у Тулича. Он знал, что за ним со всех сторон наблюдают, и знал единственное, необходимое здесь средство. Он попытался вступить в переговоры, советовал опомниться, спуститься вниз, но тот, простерев руки в сторону Кремля, проклял его кровавые звезды, иноземного царя ирода, оболстлившего народ и ведущего всех к поруганию и гибели. И в туманившемся мозгу у Тулича мелькнуло, что это тоже плата за первородные грехи революции, ничего больше нельзя было остановить и тем более повернуть назад. Спасаясь от подступившей, застилающей голову, уже знакомой ему черноты, понимая, что этого под десятками ждущих взглядов допустить нельзя, Тулич вырвал из кобуры маузер, вскинул руку и, почти не целясь, выстрелил. Черная, нелепая фигурка на столбе, надломившись, обрушилась вниз; человек в черном еще успел взглянуть в сторону Тулича, и затем его тело глухо и как-то сыро ударилось о камни. Тулич вложил маузер в кобуру, ловя вздрагивающими пальцами кнопку, застегнул ее и хмуро, слегка дергая правой щекой, приказал бойцам из оцепления и своему заместителю Куркину:

– Убрать... Выявить личность...

– Тебе, комиссар, выспаться надо, – с грубоватой заботливостью сказал Куркин, простуженно покашливая. – Теперь что ж... наша работа кончилась...

Тулич ничего не ответил, дождался смены и к вечеру, когда Москва еще только начинала осознавать случившееся, решил пойти ночевать не на Сретенку к давно знакомой женщине, бывшей с ним в самых дружеских отношениях и давно намекавшей, что им пора пожениться, а почему-то к матери, на Петровку – его словно сами собой понесли туда ноги. Увидев перед собой мать, маленькую, в черном платье и темном капоре, он стащил с себя фуражку и поцеловал ей сморщенную, чистую руку, она же —привычно ткнулась сухими губами ему в вихрастый затылок.

– Как давно я тебя не видела, сынок, – сказала она. – У меня морковный чай есть... очень полезный... кусочек вареного сахара, на старинные кружева выменяла... раздевайся, сынок. Как же от тебя табачищем несет – что за времена на Москве! Опять что-то взрывают... Господи Иисусе, сохрани и помилуй. Как хорошо, что ты Виталик, вспомнил...

– Служба, мама, – простуженно, в нос сказал он, расстегивая ремень и сразу опускаясь на небольшой диванчик и закрывая глаза.

К вечеру в Москве разыгралась декабрьская метель, на московские вокзалы со всех сторон плелись и ползли бездомные, чумазные, закоченевшие; их оказалось много со всех концов потревоженной России, никакие вокзалы или трущобы, никакие подвалы и вентиляционные колодцы не могли их вместить. Стремясь получить хоть каплю тепла и жизни, они замерзали прямо на улицах, в подъездах, на люках канализации; ослепшая от крови Россия, слабея с каждым новым судорожным рывком в неизвестность, уже не могла остановиться.

\* \* \*

В этот же выюжный декабрьский день, с небольшим перерывом на легкий ужин, в своем просторном, теплом кабинете работал Сталин; он умел и любил работать; недалекие взрывы с Чертолья дошли и до него, он почувствовал вздрогнувшие стены и пол – недоуменно поднял глаза и, сразу же вспомнив, недовольно нахмурился, и, когда потом взрывы повторялись, уже не отрывался от дела. Внимательно просматривая обязательную ежедневную сводку важнейших внутренних событий, он кое-где ставил отметки. Лицо у него привычно отяжелело; открыто выступающих против не убавлялось, но другого пути не было. Он придвинул к себе другую папку, подготовленную советниками по крестьянскому вопросу, раскрыл ее, внимательно перечитал письмо Горького с заверениями в полнейшей поддержке и одобрении революционным, глобальным переменам в деревне. «Странно, – думал Сталин, – романтические, удаленные от реальной жизни люди понимают всю глубину и необходимость происходящего,

а ученые, экономисты – нет. Схоласты, а то и похуже. Вот именно «переворот почти геологический, – опять повторил он про себя удачное определение знаменитого писателя, – неизмеримо больше и глубже всего, что было сделано партией». Полная поддержка и понимание! «Уничтожается строй жизни, существующий тысячелетия, строй, который создал человека крайне уродливо своеобразного и способного ужаснуть своим животным консерватизмом, своим инстинктом собственника». Что ж, такие, как Горький, приходят к пониманию революции не сразу, зато прочно, надо привлекать их к работе с большей настойчивостью и открытостью.

Сталин сделал несколько быстрых пометок в рабочем блокноте, закулив, отошел к окну и почти сразу же, вспомнив, поспешил обратно. Пришли срочные сообщения о событиях в Германии, за ней особенно пристально начинали следить не только в Англии, Франции, Италии и Соединенных Штатах Америки, на политическую жизнь в этой стране уже начинали влиять в нужном направлении тайные могущественные международные центры, на много лет вперед планирующие войны, и для этого с изяществом цирковых фокусников меняющие президентов и правительства почти в любой, даже кичившейся своей, якобы полнейшей демократией, стране. Сталин, получив донесения от секретнейших агентов и сопоставляя их, пытался разобраться в сверхзапутанной головоломке, всегда находящейся в основе любой политики и дипломатии; он тут же стал думать о скрытых мировых силах, пытающихся удерживать под своим неустанным контролем его самого и направлять его планы и действия в нужную только для себя сторону.

Отодвинув шифровки, он встал, прошелся по кабинету, придерживая больную, нывшую к непогоде руку у своего локтя, затем, сложив секретные бумаги в синюю картонную папку, тщательно завязал ее, отнес и запер в личный сейф, убрал ключи, стараясь больше не думать о неприятном: о степени своей зависимости от тех же могущественных международных центров; ими для России давно уготована участь колонии, не важно, каким путем это будет достигнуто, через изнурительные войны с соседями или через внутреннюю, еще более опустошительную, обессиливающую революцию....

Сталин почему-то неприятно и некрасиво поморщился от своей мысли, она тотчас связалась у него со своей собственной ролью в идущем процессе; он почувствовал, что он не один, рядом с ним находится кто-то еще, и по всей видимости, уже давно, с час или больше. Медленно повернув голову, он увидел у дальнего окна смутную фигуру, в темном одеянии, ниспадающем длинными складками с плеч, высокий чистый лоб, внимательные, вбирающие и грустные глаза. Сталин сдержанно улыбнулся, это было его давнее желание – иметь собеседника, с которым можно было бы быть до конца откровенным; он словно и ожидал этого именно сегодня. Гость заговорил, и Сталин сразу узнал его голос, не раз уже звучавший и раньше. Теперь Сталин молча и обреченно смотрел, стараясь себя успокоить и оправдать, понимая, что отныне его жизнь пойдет совершенно иначе.

«Надо бы тебя поздравить, свершилось, Сосо, – дружески сказал гость, отрываясь от стены и останавливаясь у стола, по другую его сторону от хозяина кабинета. – Я готов начать твою летопись... Хотя, между нами говоря, о тебе догадывались уже давно».

«Знаешь, я не виноват в случившемся, – ответил, подумав, Сталин. – Лучше бы тебе писать за другими...»

«Не беспокойся, за каждым пишется, – заверил его незнакомец с приятной улыбкой, и на лбу у него появилась глубокая вертикальная морщина, отчего черты лица обозначились резче и яснее. – Каждому воздастся по вере и по делам его».

«Какие высокие слова, – с досадой вздохнул Сталин и с неосознанным вызовом добавил: – Не слишком ли много шума из-за пустяка? Что случилось? Мы только в самом начале...»

«Мог бы прописных истин не напоминать, – ответил гость, от которого исходило тихое успокоение. – Тебе уже никто не сможет в твой срок помешать. Твое – тебе...»

«Расскажи свою басенку другому, – желчно возразил Сталин, – ты, очевидно, просто плохо знаешь людей...»

«А никто не знает, ты тоже их не знаешь, не надо себя обманывать, – показывая характер, не унимался незнакомец, он ничуть не смущался тяжелого предостерегающего взгляда хозяина. – В лучшем случае, можно постараться понять, хотя и это довольно непростая задача... Ты, конечно, не веришь мне, но это дело времени. К сожалению, прозрение к человеку приходит поздно. Даже к самому умному... Может быть, истина в этом, а?»

«Ничего, время выявит правого, – не согласился Сталин. – И почему ты такой кислый? У тебя зубная боль? От твоего вида энтузиазма не прибавится. Разве я этого ждал?»

«Ты думаешь, общение с тобой такая уж приятная вещь?» – усмехнулся одними глазами незнакомец.

«Я ничего подобного от других не слышал, ты, надо думать, забываешься», – оскорбился Сталин, в то же время не решаясь отвернуться, чтобы не упустить из виду своего гостя.

«Все ты слышал, Сосо, не надо лгать, – опять приятно улыбнулся незнакомец. – Ты себе цену знаешь. Ты тоже не ахти какой весельчак. Так что будем квиты».

«А может, нам лучше сразу и расстаться? У меня и без тебя голова трещит», – сказал Сталин, чувствуя непривычную странную бодрость, даже юношескую свежесть – его тело окрепло, голова прояснилась, и старая боль из слабой руки ушла.

Гость не успел ответить – вошел помощник и сообщил, что в приемной товарищ Каганович.

«Прими его, он принес радостные вести», – неожиданно сказал гость, опережая заработавшегося допоздна хозяина кабинета, хотевшего отложить встречу, и тогда Сталин хмуро кивнул, соглашаясь, и так же хмуро, повернувшись к двери, встретил Кагановича с оживленным приветливым лицом, в туго затянутой ремнем гимнастерке, на ходу приглаживающего остатки волос за ушами. Он улыбался, и только врожденная жестокость таилась в морщинах у губ и в глубине глаз – восточных, более непроницаемых, чем у самого Сталина. Еще с порога почувствовав настроение хозяина, он не успел поздороваться.

– Говори, – сразу же резко сказал Сталин, не приглашая ни проходить, ни садиться, впиваясь тяжелым взглядом куда-то в переносье пришедшему, но закаленный боец, каким давно уже был Лазарь Моисеевич, не дрогнул даже в своей приветливой и радостной улыбке.

– Знаешь, Коба, величайшее мы сегодня дело свершили, по-большевистски открыто и прямо, для всего мира, главное, для российского народа, – возбужденно заговорил он, однако не переступая указанной ему черты и продолжая стоять недалеко от двери. – Задрали мы сегодня подол матушке России, сам наблюдал – славно, славно задрали, закачаешься! Ты вчера говорил про необходимость съезда колхозников, вот и надо поручить Ярославскому пропагандистскую сторону. Водить на место храма на экскурсии... Пусть и развалины работают. Теперь только не останавливаться – дальше, дальше, дальше! Только так!

Напряженно, теперь с некоторым любопытством, Сталин продолжал смотреть на Кагановича, безошибочно угадывая его самые тайные мысли и надежды, в которых тот никому, даже самому себе никогда не признается, завиралистые и гордые мысли о человеке, вышедшем из бедной еврейской семьи и волею судеб, но больше силой своей воли выбившемся на самый верх и теперь вершившем делами огромной страны, всегда им ненавидимой, и ненавидимой с каждым годом все больше, о человеке, поднявшемся с самых низов, из самой грязи жизни, умело и ловко направляющем действия и самого Сталина, избранного тайными мировыми силами для окончательного разрушения России и расчистки места под иное, всемирное и вечное строительство, но и на таком, дух захватывающем, вираже Сталин не выдал себя ни единым движением или тенью в лице. Его взгляд, устремленный на своего ближайшего сподвижника, даже смягчился; ну, ну, сказал себе Сталин с неожиданным удовольствием, московское метро твоим сияющим именем мы, конечно, назовем, а вот кто кого переиграет, еще посмотрим, ведь даже

там, где ты уверен в своем первоапостольстве, вершится, прежде всего, моя воля, без меня больше ничего и никогда не будет делаться в этой стране. Народ должен привыкнуть к любым поворотам, любым жертвам, ему зла не хотят. Порезвись, Лазарь, по-настоящему, по-крупному обламывать рога надо не дожидаясь особых причин. Опять ведь только своих тянет, уже и Ярославского пристегнул... Ну, ну, ничего, давай, давай... Бери себе Москву со всеми ее первопрестольными игрушками, бери, бери, попробуй искорени старую, дикую веру, ты мне отдаешь гораздо больше – власть, и отдаешь мне себя со всей своей сатанинской силой, и еще неизвестно, кто выиграет, наша с тобой игра стоит свеч. Имея в руках такую страну, можно и потягаться... Будет власть, придет нужная вера, вопрос второй.

Многое пронеслось у него в голове в одно мгновение, но тотчас тайный холод коснулся его. Ошарашивая Кагановича, он негромко и отчетливо сказал:

– Молчи, дурак... Такие дела делают молча, не орут на площадях...

– Мы одни, Коба, – растерянно напомнил Каганович, не чувствуя ни малейшей своей вины.

– Молчи! Нам не в чем и незачем оправдываться. Нас оправдает история, будущее, только и орать незачем! Орет неуверенный в себе, в своих решениях и поступках... Мы никогда одни не бываем! Не можем быть! С нами обязательно всегда кто-то есть! – теперь, явно противореча своим словам, уже даже в каком-то безрассудном бешенстве выкрикнул Сталин, дергая усами и оскаливаясь, и Каганович, почти никогда не бледневший, стал медленно и неудержимо сереть; он очень не любил неуравновешенных срывов хозяина, в такие моменты ему все чаще начинало казаться, что ему больше не справиться с собой и не удержать готовый вырваться из тщедушного, невзрачного горца адский огонь, давно угаданный и определивший выбор хозяина, огонь, начавший бы без разбору пожирать вокруг и чужих и своих.

На этот раз Сталин успокоился неожиданно, через минуту, ничего не объясняя, он отпустил Кагановича, а сам уже опять думал о Европе, в самом центре ее начинало побулькивать какое-то зловещее варево, что ему активно не нравилось. Нужно было бы во что бы то ни стало заставить эту старую шлюху особенно-то не разъерошиваться, заставить ее почаще оглядываться и сюда, на восток.

Сталин давно забыл о поверженном храме, о Кагановиче, а вот сама Москва, после безраздельного пятилетнего хозяйничанья Лазаря Моисеевича, окружившего себя такими же, как и он сам, выходцами из народных низов, вроде просветленно романтического Никиты Сергеевича Хрущева или приземленно реалистического Николая Александровича Булганина, и защитившись ими и их безоговорочным романтико-реалистическим энтузиазмом по коренной переделке старого мира, Лазарь Моисеевич со своими московскими соратниками и вождями, с каким то страстным, почти необъяснимым сладострастием уничтожил в первопрестольной более двух тысяч красивейших исторических памятников, и Москва была исключена из числа десяти красивейших столиц мира. Правда, она оставалась по-прежнему непокорным и непостижимым городом, и все ее жизненно важные, определяющие ее дух и ее самосознание народные движения ушли теперь глубоко вовнутрь (здесь вожди и соратники оказались бессильны), неустанно продолжая развиваться и осуществлять главнейшую свою задачу – собирать и укреплять душу самого народа; глубинные национальные движения сделались теперь окончательно не подвластными никаким правительствам, тем более никаким проходимцам и политическим авантюристам. Вначале же на пугающем весь мир своими размерами кладбище русской культуры должны были вновь отрасти и укрепиться корни.

## 2

Лес расступился неожиданно; одолев глухой дубовый кустарник, росший в этом месте сплошной стеной, Петя невольно остановился, заморгал. Тяжелая лесная сырость и духота кончились, потянуло сухим ветерком. Он резко прыгнул через толстую, поросшую густым мхом валежину, подвернул ногу, присел и, зверски оскалившись, выругался. Что-то заставило его поднять голову; в глазах у него мелькнуло недоверие. «Ну и ну», – тихо сказал он, поднялся и, прихрамывая, сделал несколько неверных шагов.

Каменные руки, вырвавшиеся, казалось, в безотчетном порыве из самой земли к высокому сквозящему небу над мелколесьем, озадачивали, и Петя, расстегнув ворот рубашки, не замечая липнувших к потному телу комаров, долго, пока не закружилась голова, смотрел на молящие кого-то о милосердии плоские, грубо вырубленные ладони, рождающие ощущение неуверенности, и скоро во всем небе остались только они одни. Солнце низилось, ладони окаймляли холодное летучее пламя; у Пети вдруг оборвалось сердце, каменные ладони качнулись, надломились, тяжело обхватили его и взметнули к небу. Длилось это какое-то мгновение, затем осталась лишь темная уходящая боль, едва не остановившая сердце. Со всех сторон его по-прежнему окружали глубокое, бархатно-синее, быстро угасающее небо и застывший в мертвом молчании лес; зажмурившись, он рванулся назад к земле и, вцепившись в нее, долго не мог заставить себя открыть глаза. «Вот чепуха! – возмутился он. – Не хватало мне еще этой лесной чертовщины... Откуда?» Внутренний голос приказал ему успокоиться; ничего особенного не произошло, просто аукнулась давно отлуповавшая, по словам деда Захара, в этих лесах война. Так тоже бывает, сам он здесь ни при чем, сам он здесь нечто случайное, ненужное...

Каменные руки одиноко и отстраненно вздымались в синее, еще больше отодвинувшееся, глубокое небо, но Петя по-прежнему, не решаясь оторваться от земли, лежал на спине, жуя какой-то горчивший стебелек; жизнь все-таки малопредсказуема, он уже в этом убедился. Вот и после гибели отца в авиационной катастрофе он так и не смог полностью прийти в себя; просыпаясь глухими ночами от ощущения присутствия рядом именно его, отца, начинал, как вот сейчас, перебирать всю свою прежнюю жизнь, судить себя, хотя и перебирать особенно было нечего и судить не за что. Случившееся же с ним сейчас среди глухих зежских лесов тоже, вероятно, выходило за рамки объяснимого и даже разумного: его непреодолимо тянула, словно бы вбирала в себя разверзшаяся мучительная даль, и он приказал себе больше не смотреть на вздымающиеся ладони в вечернем, быстропадавшем небе над лесом; его плотно окружал щебет птиц, и шелест листвы, и стрекот кузнечиков, и какие-то другие, ухающие, приглушенные, словно разлитые в самой земле звуки, живущие только в низких болотистых местах – и то в предвестии солнечной ровной погоды. Пахло грибной сыростью и почему-то дымом; пожалуй, он забрел слишком далеко от дедовского кордона в незнакомую, самую глухую часть зежских лесов; пора возвращаться.

Он встал, раздвигая заросли мелкого дубняка, начинавшего забивать весь остальной подрост, пробрался к самому мемориалу. Каменные ладони вздымались вверх из основания, скрытого в земле; Петя теперь близко увидел бетонный язык пламени, с трудом пробивавшийся из буйной летней зелени и тем самым как бы усиливавший ощущение трагичности жизни, обреченности человеческой тщеты: «Мы тоже жили, – словно бы прозвучал из самого камня чей-то задумчивый стон. – Мы жили, а теперь стали травой и лесом. Родимые! Вы слышите нас? Нас сожгли всех вместе – детей, женщин, стариков – в пору золотых листьев, в сорок втором, в конце сентября, но мы были! Были! Вы прислушайтесь, и вы нас услышите...» Петя замер и даже затаил дыхание; крик действительно жил в самом камне, давным-давно умершие, умолкшие голоса сочлились, текли из камня глухим шелестом. Мертвая деревня, уничтоженная немцами в последнюю войну вместе с жителями, деревня-призрак, робко проступала из буйного



разлива летней зелени; обозначая бывшую улицу, тянулась цепочка бетонных кубов – одинаковых, серых, наполовину скрытых свежей, изумрудной травой.

Петя нерешительно ступил на нехоженую, густо заросшую улицу и почти сразу же вновь остановился. Мертвая лесная деревня называлась когда-то Русеевкой, о чем он тоже узнал из надписи на памятной плите, языком огня пробивавшейся из земли; он поймал себя на том, что все время на разные лады повторяет про себя это тихое, успокаивающее слово: «Русеевка, Русеевка... Русеевка». Медленно, стараясь, ничего не упустить, он заставил себя двинуться дальше; ему еще никогда не было так неловко, стыдно перед жизнью за свою ненужность, бесполезность; почему-то по-прежнему не шел из головы отец, казалось до самой последней минуты все время что-то упорно, непрерывно отыскивающий и обжигающийся (даже ожоги жизни были для него смыслом движения) и в один момент своей бессмысленной и нелепой гибелью опровергший и себя, и все свое прошлое. Всегда беспокойная стихия утихла, слилась в один серый цвет, в одну ровную, едва дышащую поверхность, от горизонта до горизонта одинаковую и безжизненную; и Петя не мог этого понять, не мог с этим примириться, и попытки со стороны родных и близких растормошить его не помогали. Он даже себе не мог признаться в главном, все его существо перевернула одна-единственная, внезапно открывшаяся истина: слова отца, не раз говорившего ему о необходимости спешить, не терять в жизни напрасно ни одного часа, ни одной минуты, казавшиеся в свое время всего лишь раздраженным ворчанием уставшего, замученного вечной спешкой и необходимостью долга человека, обернулись теперь знобящим смыслом неминуемости и собственного своего ухода.

Шагая по безлюдной, умершей много лет назад улице, подумав именно об этом, Петя поежился от предвечерней свежести и решил пройти улицу, означенную бетонными, побелевшими от солнца глыбами из конца в конец; тишина и безлюдье засасывали его...

На упорный, неотступный взгляд он наткнулся внезапно и, повернув голову, увидел у одного из бетонных кубов что-то вроде навеса из кольев, ветвей и сухой травы, а возле него старуху, сидевшую на земле, привалившись спиной к бетонной глыбе, с которой она как бы срослась, и если бы не ее упорный взгляд, Петя прошел бы мимо, не заметив ее. Старуха, не мигая, смотрела на него; Петя подошел вплотную, поздоровался вполголоса. Старуха по-прежнему молчала; она была в низко повязанном темном платочке, в широкой, застиранной кофте, с жилистыми, в сильно проступавших венах руками, сцепленными под грудью; на ногах у старухи красовались матерчатые легкие туфли, похожие скорее на тапочки. Петя присел рядом.

– Кто вы, бабушка? – спросил он тихо. – Вам, вероятно, нужна помощь? Что вы здесь делаете?

Старуха слегка приподняла морщинистое лицо, ее узловатые пальцы что-то мелко перебирали.

– Жду, милый, жду, – сказала она спокойным, приятным голосом, и хотя по выражению ее лица, уже совершенно отрешенному, свойственному человеку, приготовившемуся к последнему покою, Петя понял значение ее слов, он не удержался от дальнейших расспросов.

– Вы здесь одна, бабушка? А если что случится?

– Она сюда умирать явилась, – услышал Петя надтреснутый голос и теперь не удивился появлению невысокого, тоже старого уже человека, в подпоясанной веревочкой длинной рубаше, босого, только что вышагнувшего из густой зелени и еще придерживающего ветку орешника; на лице у него подрагивала легкая снисходительная усмешка, и даже не усмешка, а усмешечка над слабостью хорошо знакомого, надоевшего и в то же время необходимого, близкого человека. И тут Петя остро прищурился, потер виски ладонью; несильный ветерок тронул кусты, и они зашевелились: безлюдная, пустая улица, обрамленная тяжелыми бетонными глыбами, словно ожила и стала заполняться смутными тенями людей.

– Зачем же именно здесь умирать? Здесь и похоронить некому.

– Тут всего много, – не согласился старик. – Птички, мышки, всякие паучки... муравьишки... и покрупнее водится... Земля без живности не земля... В войну сколько вот народу перебито, и следа не осталось... ни маковой росинки... Утром водицы хотел испить, вон ее образить, приуготовить... Пошел к родничку под камнем... во-он, тут недалеко, – указывая, старик дернул сухой головкой в нужную сторону, – а водицы и нету, пропал родничок, как и не было его... и песочек просох в ямке... Еще деды наши пили из него, а тут – пропал... ушел в землицу-то.

– Пропал? – почему-то сильно озадачился сообщением старика Петя.

– Сгинул, вроде живая душа, в одночасье... Отстрадала свое, отмучилась – и все тебе, один чистый песочек... Промытый, беленький песочек... божеский...

По лицу старика потекла неуверенная и пугливая усмешка; старуха же, словно пробудившись, повела белесыми глазами, с затеплившимися в них тусклыми огоньками.

– Не жди, Никишка, не жди, найдется добрый человек, присыпет землицей, – сказала она, обращаясь к старику, и Петя по ее тону тотчас понял, что подобный разговор между ними ведется не первый раз.

– Ничего не пойму, – признался Петя, выждав. – А где же ваш дом, близкие?

– Нету у нее никаких родных, и дома нет, – сообщил старик Никишка. – Из дома призрания утесла... из стариковского приюта, значит... она еще от войны потусветочной огневицей прозывается...

– Странно все это звучит, – задумчиво сказал Петя. – Потусветочная огневица... что это такое?

– Она из полымя выскочила, как немцы их в колхозном складе запалили... С дочкой на руках и выскочила... Дочка мертвенькая, задохлась от дыма, много ли дитенку малому надо... она прижимает к себе, мертвенькую-то, не вырвать, ножонки-то у нее обгорели, черные, растрескались... У нее душа подпаленная, так и не отошла... Третье лето умирать сюда утекает... Огонь ее отсель не отпускает, держит...

– Нынче уж помру, – уронила старуха с какой-то просветленной уверенностью. – Нельзя мне дальше... А ты уходи, уходи, убивец, как тебя земля-то еще носит, не просела под тобой? Вот тебя – огнем бы, огнем...

– Ты, Фетинья, не кори, не кори! – внезапно визгливо огрызнулся старик. – Я свои прегрешения десять раз отслужил! Теперь с меня снято и печатью заверено! Чего придумала! Тут и моя земля, – повел старик рукою окрест, – во-на сколько всего, что огнем-то меня палить? Меня на этой земле и без того полымем насквозь прохватило... Кто тебя похоронит тут, Фетинья, коль прогонишь? – внезапно старик понизил голос чуть ли не до вкрадчивого шепота, посмотрел с хитринкой; говоря, он то и дело оборачивался к Пете, мигая своими маленькими глазками, приглашая его в свидетели, в союзники, и Пете, хотя он пока ничего не понимал, стало неприятно.

– Запел, запел, оборотень окаянный, – пробормотала старуха. – Пошел глаза застит... Передо мной-то не егози, у таких-то своей земли не бывает... она их не сдуживает, таких-то...

– Крест, крест на себя положи, Фетинья! Какой ж это я такой особенный? – опять тоненько закричал старик, от возбуждения заливаясь старческим бледным румянцем и подходя шага на два ближе. – Крест положи! Я из какой земли вышел, из германской, а? Ты, Фетинья, озверела, давно ли по-другому говорила? И язык у тебя не отсохнет под самый корешок, мы ж с тобой сколько прожили... Я тебя тут какой день кормлю, пою... с тобой мучаюсь... а ты?

Впервые шевельнувшись всем телом, расцепив руки и упершись ими в землю, старуха помогла себе пододвинуться ближе к стене, с усилием подтянула к себе ноги, и на ее посуровевшее лицо напозла тень; прикрыв глаза высохшими, почти без ресниц веками, она опять окаменела, обозначилась резче, и в какое-то мгновение в лице ее словно проступил прежний далекий облик; поджались, построжали безвольные губы, прояснились глаза, и Петя увидел,

что эта старуха Фетинья, несомненно, была когда то красавицей. Он услышал тихий, непрерывный, отдающийся во всем его существе мотив, успокаивающий и смыывающий с души все ненужное, мешающее, и понял, что наконец-то и его коснулся, по словам деда Захара, голос и дух леса, и что именно здесь, в молчаливых корнях, и пышных вершинах, в земле и в небе – повсюду рассеян прах его предков...

– Ты, Никишка, меня перед кончиной не срами, – громко и ясно сказала старуха, продолжая свой спор. – За свои прегрешения сама отвечу...

– А-а, прегрешения! – обрадованно подхватил старик, словно получив подтверждение каким-то своим зыбким и неясным мыслям.

– Были, были, – сказала старуха в том же состоянии просветления и решимости. – Жила с тобой, убивцем, одолел ты меня, бабья моя порода пошатнулась, а ты и раскрылестился, налетел... Господи, прости, и грехи-то бабьи, пустяшные, что за грехи такие?

– Вот-вот... Ты на одного на меня не вали... Ты меня судить не можешь, Фетинья, – быстро возразил старик Никишка. – Ну, а коли я тебя и обидел чем, ты по-христиански-то, по-христиански – прости... И я тебя прошу...

По-прежнему помогая себе руками, охая и бормоча что-то, Фетинья тяжело взгромоздилась на больные, опухшие ноги и теперь стояла, опираясь на шероховатый бетон. От усилий платок сдвинулся у нее на плечи, и седые, совершенно белые, бесцветные, редкие волосы рассыпались, невесомо заструились под жарким легким ветерком.

– Грешница я, Никишка, великая грешница, – тяжело вздохнула она, – ты правду сказал, Никишка... Только ты меня с собой не равняй, ко мне сейчас он приходил, слышишь, сам приходил проститься, – понизила она голос, и лицо ее еще утончилось. – Он мне простил, он мне знак такой сделал...

– Кто? – не сразу хрипло спросил старик.

– Игнат приходил, муж мой покойный...

– Тю-ю, сдурела, старая, – даже попятился Никишка, зверовато оглядываясь по сторонам. – Игнат сгнил давно, костей за полвека, поди, не осталось...

– Приходил, – упрямо повторила старуха. – Вот здесь стоял, – добавила она, сосредоточенно указывая перед собой и в подтверждение даже слегка притопывая. – Вот такой же молодой да ладный приходил... стоит, глаза звездочками, прямо глядеть в них страх божий... Тина, говорит шепотом, Тина, пришел я... Долго ты дождалась, я и пришел... Вот как его видела, – кивнула она на Петю. – Грех мой тяжкий он отпустил... он знак мне сделал особый...

– Не мели своим бабьим языком! Сдуру у тебя все, сдуру! – махнул рукой Никишка. – Приходил, отпустил... много ты знаешь, отпустил, привязал... Ты его вот и видела, – с нескрываемой злобой мотнул он кудлатой головой на Петю. – Кто окромя мог тебе приблизиться?

– Я Игната видела, мужика своего, совсем молоденького... веселого видела, – упрямо стояла на своем Фетинья и, неожиданно отделившись от бетона, шагнула к Пете, и тот не успел отступить; цепко ухватив за плечо, старуха потянула его к себе и совсем близко, в упор стала разглядывать лицо. Упрашивая ее не пугать хорошего человека, Никишка тоже заволновался и даже сделал попытку втиснуться между Петей и старухой, разъединить их.

– Какой же это Игнат, – выдохнула Фетинья наконец, – от Игната зеленым полынем несло, а тут другой, нет, не нашенский, чей-то; ты, Никишка, всегда бестолковый был, никого от тебя проку. Какой это Игнат? Городской чей-то, у него-то и дух другой, не-ет, не наш, – протянула она. – Ты бы мне селедочки принес, а? – совсем другим, земным, обыденным голосом попросила она Петю. – Как хочется-то селедочки, хоть бы хвостик во рту повозить.

И тотчас настроение у нее вновь переменилось, и она, взяв его за руку, повела, а за ними, озабоченно что-то бурча себе под нос, заторопился и старик Никишка; догнав их и поравнявшись с Петей, принаравливаясь к его шагу, сбоку и снизу вверх заглядывая ему в глаза, сказал:

– Слышь, парень, ты ей не верь, она всякого наметет, лишку зажила на свете, блазнится ей, все блазнится... Вишь, Игнат к ней приходил, вон чего ей приблазнилось! Как же, жди, придет! Не верь... не верь... слышь, парень... не верь... Ничего ей не верь, жила долго, свое понятие отжила...

Не отпуская Петю, Фетинья шла одним ей ведомым путем, ни разу не остановившись; миновали улицу из бетонных глыб, и лишь каменные руки, сколько Петя ни оглядывался, по-прежнему тянулись во все больше густевшую и темневшую синеву неба. У старухи словно прибавилось сил, движения ее обрели уверенность, лицо разгорелось, глаза прояснились, и лишь дышала она хрипло, с надсадой, и по лицу пошел крупный пот. Еще издали Петя увидел наполовину разрушившийся и все равно поражающий толщиной ствол старого дуба; сучья с одной стороны у него, захваченные каким-то недугом, обескорились, побелели, иструхли и бессильно обвисли, на земле валялись полусгнившие их остатки; другая же половина дерева еще густо зеленела. Петя пригляделся: метрах в четырех от земли дуб разделялся на два ствола, и вот один из них, обращенный к югу, умер, второй же, северный, не тронутый порчей, бугрился сильной корой, и раскидистая его крона шумела высоко в небе.

Фетинья остановилась у дуба и некоторое время осматривалась; Петя молча ждал рядом, с какой-то новой заинтересованностью отмечая любую подробность вокруг.

– Я вот здесь с дитем на руках бежала, а Никишка, убиец, за дубом стоял. Он в полициях служил, а здесь в оцеплении стоял, как немцы людей жгли в складе-то. Вот я на него и набежала, – значительно сказала Фетинья, обращаясь к Пете, и по ее глазам, в упор устремленным на него и ничего не видящим, Петя понял, что она действительно принимает его за кого-то другого; Петя коротко и неловко взглянул на старика, уставшего от непривычно быстрой ходьбы и часто дышавшего открытым беззубым ртом; его обтянутые сероватой кожей ключицы высоко поднимались и опадали; он порывался что-то сказать, не мог, задышался и со злостью смахивал пот с лица сильно заношенным рукавом рубашки.

– Ты слышишь, слышишь? – неожиданно горячо и хрипло зашептала старуха, вновь хватая Петю за плечо, и в ее глазах плеснулся темный ужас; Петя постарался высвободиться из ее рук и не мог. – Слышишь, они... они... гонятся... трещит! Трещит!

– Успокойтесь, успокойтесь, – сказал Петя, – я ничего не слышу... вам просто кажется – в лесу никого больше нет... Вот только мы трое, уверяю вас... да, да, никого нет, – повторил он, не в силах выдержать слепой, уходящий взгляд старухи, не верившей ему, вероятно вообще не слышавшей его и занятой только своим; вотчина деда Захара, зежская лесная глухомань на этот раз раскрывала перед Петей нечто совсем уж сокровенное, окончательно принимала за своего, и у него от этой неожиданной мысли проснулось и окрепло почти физическое чувство общности и сопричастности с происходящим. Он, разумеется, знал, кто такой «полицай», но до этой встречи для него это понятие было чем-то далеким, отстраненным и даже нереальным; у него уже сложилась своя теория, и он любую жестокость стремился объяснить не физической природой самого человека, а стечением обстоятельств его жизни, и вот сейчас он встал в тупик при виде этих двух немощных, умирающих стариков, совершенно случайно встретившихся ему в лесу, полных неутраченной ненависти друг к другу.

– Я Дуняшу несу, а у нее ноженьки-то головешками, она криком кричит, заходится, а этот убиец из-за дуба – шась, и стоит с автоматом! Слышишь, слышишь? – Старуха с расширившимися, остановившимися зрачками настойчиво трясла Петино плечо. – Слышишь, кричит... кричит! А Никишка, убиец, держит! Схватил и держит!

– Бреешь, ведьма! – не выдержал старик. – Не могла она кричать, мертвую ты волокла с собой! Я тебе зарыть ее помог!

– Убиец ты, душегуб!

– Никого не убивал и тебя тогда пропустил! – тихо сказал старик с отчаянием и безнадежностью в голосе. – А свою вину я в штрафбате отпахал, сама знаешь! Там один закон был

– до первой крови! Гляди! – задрал старик подол рубахи, и Петя увидел его впалый живот и тощую грудь, сплошь уродливо обвитые шрамами. – Лучше б я тогда подох, все одно жизни не было. Один сын и тот на край света забился, отца с матерью видеть ему тошно... Его бы на мое место тогда, в сорок первом, я бы еще поглядел...

– Молчи, Павлушу не трогай, не погань! – набросилась на него Фетинья, и у нее от злобы даже задрожал подбородок. – У него твоего ничего нет, у него одно обличье от тебя, а душа у него другая! Ты тут никого не разжалобишь, это моя подлая бабья природа сказала... Не трожь... Мало ли как в мире кровь перехлестнется... Тебе от этого света в душе не прибудет!

– Ведьма! Ведьма! – не сдавался старик. – Все ты, все от тебя... Кабы знал я волчье твое сердце, стукнул бы тогда в кустах – и амба... Все равно один ответ перед богом держать, ох ты мать моя родная, – всхлипнул он, не выдержав, задохнулся и затих, размазывая по щекам слезы грязной ладонью, и Фетинья тоже притихла, задумалась и сказала:

– Уходи, Никишка, хочу я без тебя час свой последний побыть, застишь ты мне, Никишка, свет Божий, уходи, уходи... Мне за все земное отшептаться надо... Закрою глаза, делай что хочешь, а теперь уходи... и ты уходи! – кивнула Фетинья в сторону Пети. – Уходите... а то меня земля не примет! Родные вы мои, тяжело душеньке, отпустите... иссохла я, нельзя мне больше с вами-то...

Последние слова Фетиньи, вырвавшиеся уже в бессвязном, бессильном шепоте, все вокруг окончательно замкнули: и лес, и каменные ладони над ним, и прошлое, представшее перед Петей до боли обнаженно, и стариков в их тягостной привязанности к жизни друг подле друга. Он понимал, что не вправе судить, он лишь знал сейчас, что ему действительно необходимо уйти и освободить от себя этих стариков, пытавшихся, может быть, в последний раз что-то самое важное для себя понять.

Стараясь не оглядываться, Петя повернул в сторону заходящего солнца, спускавшеюся за сплошную, бесконечную стену леса, и быстро пошел прочь; его никто не окликнул, и с каждым шагом он как-то совершенно иначе начинал себя ощущать; он устал и хотел есть; в желудке подсасывало, и временами появлялась легкая тошнота. В конце концов интерес Обухова к зежским лесам, его непереносимое и постоянное желание обязательно увидеться и поговорить с дедом Захаром в свое время найдет объяснение; главное свершилось в другом, думал Петя, что-то важное свершилось в его собственной душе, пусть он не может пока ничего даже самому себе объяснить. Появилось и окрепло какое-то новое движение, и, конечно, не, потому, что он набрел на мертвую лесную деревню и встретил тоже мертвых, по сути дела, стариков, пытающихся разделить между собой прошлое. Это всего лишь совпадение, так вышло, и больше ничего и понимать не надо...

На другой день к вечеру, отощавший, необычно легкий и голодный, он вышел к небольшой железнодорожной станции и первым же поездом уехал в Холмск, затем в Москву и только оттуда отправил деду на кордон короткую, весьма озадачившую лесника телеграмму, объяснив свой неожиданный отъезд необходимостью срочно вернуться к работе.

## 3

Открыв глаза, Захар прислушался; он проснулся раньше обычного – солнце еще не встало. Пришел июнь, самая яркая пора лесного цветения, а с некоторых пор (Захар заметил за собой такую особенность) ему становилось не по себе именно в это время года; одолевала тяжесть прошлого, даже если он и пытался сопротивляться. Слишком долгая дорога оставалась у него за плечами, она представлялась ему бесконечной, вызывающей чувство бессилия, собственной ненужности; и хотя он пытался отгородиться не только от прошлого, но и от настоящего, это случилось как-то само собой, по извечному закону жизни; обнаруживались все-таки еще не замурованные временем отдушины, в них врывались нежелательные, ненужные уже отзвуки сотрясавших мир бурь, и, если уж говорить открыто, они-то и бередили душу; проходил день, другой, иногда неделя или даже месяц – и опять все бесследно исчезало, не оставляя никакого следа. Так было и год, и два, и три назад; и к этому он уже привык: теперь он жил как бы в двойном измерении и, если бы и захотел, не смог бы отделить прошлого от настоящего; прошедшее как бы повторялось, и с этим ничего нельзя было сделать.

Вот и сегодня, едва открыв глаза и втянув в себя запах обжитого и давнего жилья, старого соснового дерева, приобретающего со временем устойчивую смолистую крепость, скисшего молока, налитого в большую миску для кота, так и оставшееся невыпитым, Захар подробно перебрал вчерашний день. В открытое, затянутое от комарья частой проволочной сеткой окно, сочились запахи лесной прели, земли, свежей листвы и сирени, завезенной сюда прежними лесниками и буйно разросшейся в южной части расчищенного от леса пространства на кордоне и кое-где начавшей в этом году необычайно рано отцветать. Всего этого Захар давно уже не замечал, как не замечал и своей жизни, работы, воздуха вокруг, земли под ногами.

Он заворочался, завздыхал, столкнул с кровати пригревшегося у его бока здоровенного серовато-палевого кота Ваську, очень самолюбивого, стойко выдерживавшего ожесточенные баталии с крысами, невесть откуда появившимися и расплодившимися в последние два года на кордоне. Кот мягко шлепнулся на все четыре лапы, несколько раз вздрогнул кончиком хвоста, проявляя сильнейшее недовольство и обиду, фыркнул и отправился в соседнюю комнату, а оттуда, привычно приподняв круглой мордой шевелившуюся от свежего ветерка занавеску на окне, огляделся и бесшумно спрыгнул в кусты раздражающе пахшей сирени, подступившей вплотную к окнам большого, полупустого дома, затерянного в глуши старых зежских лесов. Захар не обратил внимания ни на кота, ни на его вполне справедливую обиду; да и все запахи словно в один момент отхлынули от Захара и, истончившись, рассеялись; он опять повернулся с боку на бок, покряхтывая и вздыхая, недовольный собой, ломотой в костях, и в то же время неосознанно приготавливаясь к новому дню, к непрерывным делам и заботам кордона.

По давней привычке он ощупью поискал на табуретке рядом с изголовьем кровати кисет с табаком и спички, не нашел и вспомнил, что со времени, когда он поселился здесь и завел пасеку, бросил курить; рука его натолкнулась на кружку с водой, поставленную Феклушей, раз и навсегда взявшей на себя эту обязанность и он, опять пробормотав что-то неразборчивое, остался лежать, впевив глаза в еле проступавший потолок; темен был мир, и темна была его душа сейчас, темна и не хотела света, но он уже знал: дай только себе поблажку, начнет душить беспросветная, ненужная тоска. Еще помедлив с минуту, он тяжело приподнялся, скинул сильнее занывшие в коленях ноги с кровати (быть, быть непогоде!), сел, ожесточенно почесал грудь, заросшую седым жестким волосом, затем, как был, в исподнем, привычно откидывая в темноте щеколды с дверей, вышел на крыльцо. Неслышно появился Дик – величиной с доброго теленка пес – и, ожидая первого слова хозяина, внимательно смотрел на него, выставив острые уши и опустив хвост.

– А-а, Дикой, – сказал Захар, называя пса давним, полузабытым еще щенячьим именем, которого, собственно, уже никто, кроме самого пса и Захара, не помнил. – Ну, как тут дела? – спросил Захар, и умный пес, стараясь угадать настроение хозяина, еще внимательнее взглянул ему в глаза и весь напрягся в ожидании дальнейших слов. Широко зевнув и ничего не говоря больше, оставив Дика раздумывать на крыльце, Захар скрылся в душевной темноте просторных сеней, куда Дик без особого приглашения никогда не заходил. Дик тотчас повернулся в сторону неуловимо тянувшего откуда-то из глубины леса ветерка и сел; позади у него был дом с самым дорогим на свете, с Захаром, а перед ним, как всегда, простирался неведомый, каждый раз новый, загадочный, часто враждебный лес – тут Дик вспомнил злобного хромого волка, своего давнего врага, и, сам не осознавая, негромко зарычал, и шерсть на загривке у него поднялась. Проверая, он повел носом, втягивая в себя воздух; лес молчал, и Дик успокоился.

Вышел Захар, уже одетый, застучал тяжелыми сапогами по доскам крыльца; бодрый звук словно разбудил весь кордон: и наступавший со всех сторон лес обозначился тяжелее, и совсем ясно послышалось бормотанье бегущего неподалеку, еще полноводного от весны лесного ручья. Дик деловито зевнул и отправился вслед за Захаром по неотложным утренним делам; прежде всего Захар открыл дверь большого сарая и выпустил в загон на росную молодую траву корову Зорьку, и, пока она медленно, важно – по своему степенному характеру – выходила из сарая, Дик стоял рядом и внимательно за нею следил. Зорька была сегодня не в духе и первым делом, угнув голову к земле и выставив острые рога, хотела боднуть Дика, но тот, давно уже приученный к подобным каверзам, одним прыжком оказался в тылу у Зорьки и, радуясь новому дню, великолепной игре жизни, оглушительно залаял и прикинулся, что вот-вот вцепится Зорьке в зад, а она, высоко взбрыкнув, вскидывая ноги (из переполненного вымени у нее тугими струйками брызнуло молоко), прыжками промчалась в загон, в открытые настежь широкие ворота из осиновых жердей. Выполнив свою обязанность, Дик тут же вернулся к хозяину и опять уселся неподалеку от него, выбрав такое место, чтобы видеть одновременно и самого Захара, и ворота загона; Захар, изо дня в день наблюдавший эту игру, усмехнулся, тяжело опустился на дубовый кряж; от души чуть отпустило. Он любил ранние часы наедине с собою, когда, ни о чем не думая, можно было посидеть, слегка поеживаясь от утренней свежести, как бы привыкая к новому, надвигающемуся дню. Так было и вчера, и позавчера, и месяц назад – встретить повое утро в душевном покое, в освобождении себя от счетов с прошлым, от ненужных тревог и мыслей; но вот именно сегодня этого-то и не получалось. Во-первых, без всякой на то внешней причины вспомнилась Ефросинья уже перед самым концом, словившаяся сразу после гибели своего любимца Николая, всего то и протянувшая после этого чуть больше полугода, да и вспомнилась как-то необычно – словно ненароком глянула на него из предрассветной лесной тьмы, глянула и скупое усмехнулась. Что-то, мол, загостился ты без меня, старей, на белом свете, пора, мол, пора, жду!

Слова эти неслышно прошелестели в душе у Захара, и стало как-то светлей, покойней на сердце, и он подивился про себя, потому что подобного не испытывал давно, уже несколько лет. «Ну что ты, Фрося, торопишь, – сказал он с понимающей усмешкой, – придет время, явлюсь. Теперь недолго, может, завтра, а то и нынче к вечеру... Так что жди, поторапливать нечего, тому срок сам собою назначен...»

Посторонний, еле-еле означавшийся звук перебил его мысли, заставил насторожиться, выпрямить голову – где-то очень далеко рубили дерево.

– Помереть не дадут спокойно, – недовольно проворчал лесник Дику, неотступно следовавшему за ним и оказавшемуся, как всегда, рядом; именно по его напрягшимся острым ушам лесник понял, что не ошибся, хотя больше не услышал ни одного постороннего тревожащего стука. Падения дерева тоже не было слышно, и он, к неодобрению Дика, ожидавшего привычную команду: «Ну, пошли, Дикой», остался сидеть. Даже если дерево свалили, подумал лесник, так пусть его лучше увезут из лесу, ворье сейчас пошло добросовестное, ветки уберут,

пень срезанной кочкой прикроют – даже наметанный глаз не всегда заметит. Успокоив себя подобными мыслями, Захар, по-прежнему чувствуя неодобрение пса, по поворачивая к нему головы, сказал:

– Ладно, ладно, тебя не хватало... Давай Серого ищи, гони на место... Тоже мне, прокурор нашелся...

Внимательно выслушав хозяина и чуть выждав, не будет ли еще приказаний, пес по-волчьи бесшумно исчез в предрассветной тьме; тут Захар почувствовал, что новый день начался и окончательно потек своим привычным путем. Подступавший со всех сторон к кордону лес стал обозначиваться неясными рыхлыми громадами, как бы вырываться из тьмы; блеск редких звезд в небе слабел, да и густая синева неба размывалась, гасла; и в один момент, словно по неслышному сигналу, лес наполнился голосами птиц, пересвистом, звоном, щебетом, страстным гуканьем, нежными трелями; лесник угадывал знакомые голоса малиновок, щеглов, синиц; затревожилась, заскрипела где-то в низине болотная цапля, застрекотал бекас, и ему отозвались сороки... Невидимая пока еще из-за леса заря разгоралась; обозначились трубы над крышей дома, поверх слитной массы леса все резче пламенела малиновая полоса заревого огня – новый день начинался обычно. Привычно всматриваясь в охваченные призрачным, холодным, все время меняющимся пламенем вершины деревьев, Захар был сейчас один во всем мире, и все происходящее вокруг совершалось помимо него и его не касалось; яснее проступали новые потаенные уголки; в доме началось движение, и вскоре на крыльцо выскочила Феклуша с подойником в руках и пронеслась к загону; с застывшим раз и навсегда светлым безмятежным выражением лица она мелькнула мимо Захара, словно его и не было совсем; лесника лишь обдал легкий ветерок да сопровождавший Феклушу неотступно горьковатый полынный запах; Захар привык к нему, он служил для него как бы мерой покоя, прочности, мерой продолжения жизни, связывающей его пока еще с прошлым, с бурной, отдаляющейся молодостью, хотя теперь, насколько это было возможно, он и сторонился все больше утомлявших его людей.

Заря ширилась, охватывая небо над лесом, теперь по-другому, размашистее и щедрее, золотя поверху нечастые острова дубов и кленов; солнце, все еще из-за леса невидимое, уже взошло; момент этот означился безошибочно точно, и означился тем, что отхлынули, исчезли последние тревожные отголоски ночи.

Услышав тяжелый и все крепнущий топот, лесник тихо, поощряюще свистнул; Дик гнал к дому Серого, и вскоре сытый молодой конь, тяжело проскакав мимо, влетел в раскрытую дверь сарая, и было слышно, как он там несколько раз шумно встряхнулся; Дик же подбежал к хозяину и лег неподалеку, дыхание у него стало спокойным и ровным. Лесник прошел в сарай, распутал Серого, тихонько заржавшего ему навстречу, надел на него уздечку, накинул седло, висевшее тут же, на стене, на деревянном колышке, затем вывел коня к колодцу, налил в колоду свежей воды. Серый понюхал воду, шумно фыркнул и лишь окунул в студеную воду мягкие губы; он напился раньше из лесного ручья. Так было вчера, позавчера, неделю назад, и здесь присутствовало нечто нерушимое; с этого момента и для Серого окончательно отступала ночь с ее опасностями, настороженностью и непредсказуемостью, он тоже полностью переходил во власть хозяина и для него начиналась вторая половина жизни: дальше он как бы забывал свои желания и жил только волей человека.

Оставив оседланного коня у колодца, лесник пошел в дом; Серый, часто и сильно обмахиваясь хвостом, тотчас двинулся за ним и остановился у крыльца, ожидая; мимо прошла с тяжелым подойником, сверху повязанным марлей, пахнущая парным молоком Феклуша. Серый спокойно покосился на нее, но Дика, пытавшегося прошмыгнуть на крыльцо, встретил воинственно. Фыркнул, тряхнул головой и даже вознамерился поддеть его задом; пес заворчал, ловко увернулся, припал к земле, следя за каждым движением Серого. И эта игра повторялась



между ними чуть ли не каждое утро, они привыкли к ней и находили в ней определенный вкус и радость.

Совсем высветлило; солнце ударило по верху леса и стало прорываться к земле, окончательно слизывая тяжелую молочную росу. Куры за сараем подняли отчаянный переполох, и Дик насторожился, приподнялся и замер на полусогнутых, напружинившихся лапах, готовый при малейшей необходимости ринуться вперед и навести порядок, но куры – существа взбалмошные, непостоянные и глупые – неожиданно утихли; Дик, однако, быстро обежал сарай, усиленно водя носом, и, ничего не обнаружив, вернулся к крыльцу. Лесник с ружьем за спиной уже сидел в седле, и Дик почувствовал глубокое, тайное волнение. Он присел и горящими глазами смотрел на хозяина, что-то говорившего вышедшей на крыльцо, явно недовольной происходящим Феклуше. Пес не то что хозяин, умел ждать; он, правда, не совсем все понимал сейчас, но как только Захар, прерывая на полуслове разговор с Феклушей, шевельнул поводья, Дик сорвался с места и оказался впереди, и то, что Феклуша не успела дать ему поест (в чем и была причина ее затянувшегося объяснения с Захаром), лишь усилило легкость и стремительность его тела, обострила и без того поразительное чутье; с этого момента Дик весь отдался чувству движения, чувству проснувшейся беспредельной свободы, и этому его состоянию не мог помешать ни Захар, ни глухой мягкий топоток копыт Серого по сырой, глушившей любые звуки земле. И хотя Захар по-прежнему оставался для Дика высшей непререкаемой, даже божественной силой, мир для Дика теперь разделился. По одну сторону оставался хозяин, по другую – лес с его всегда тайной, неведомой жизнью, с его волнующим запахом опасности. Лес был много древнее Дика, а сам пес древнее человека, и здесь у каждого были свои связи и свои различия, переступить которые им было не дано.

Серый пошел иным, убористым шагом, и лесник, сразу подобравшись, увидев появившегося неподалеку Дика, очнулся от своих мыслей; он был теперь близко у цели. Слышались негромкие голоса, дробный частый перестук двух топоров; затем хрипловатый, казавшийся особенно лишним и ненужным в сиянии разгоревшегося ясного утра, мужской голос скверно выругался и прикрикнул: «Ну, нажми давай, черт!»

Серый остановился; поправив ружье, с забытым удовольствием чувствуя настороженность и легкость сухого тела, лесник спрыгнул на землю и, привыкая, слегка топнул одной, затем другой ногой. Дик немедленно подошел, сел неподалеку и стал внимательно смотреть на хозяина. Захар вполголоса приказал Дику ждать, а сам, скрываясь за деревьями, пошел на голоса и шум.

На небольшой лесной прогалине стоял, работая вхолостую, легкий колесный трактор с низким прицепом, и четверо мужиков, орудуя дубовыми кольями, накатывали на прицеп длинные, метров по восемь-десять, отборные сосновые бревна. Одного из них, с давно не бритым, заросшим и припухшим от самогона лицом, лесник хорошо знал – это был Фрол Поскрехин, по прозвищу Махнач, из соседнего, в пяти верстах от леса, села Воскресеновки; известный далеко вокруг своим бандитским норовом, он уже дважды побывал в тюрьме, хотя даже это не пошло ему на пользу; возвращаясь, он всякий раз потихоньку принимался за старое. Было ему уже лет под пятьдесят, и лесник видел сейчас его напрягшуюся, побагровевшую от усилия шею, скошенный лохматый затылок; поддев с комля очередное бревно вагой, он, с помощью двух, лет под двадцать, парней затаскивал бревно на прицеп; второй, более легкий конец бревна уже лежал на месте, и его придерживал колом четвертый – мужик лет тридцати пяти; он же и руководил работой. Наметанным взглядом лесник отметил про себя, что порубщики – люди неопытные и, пожалуй, воруют лес не так уж и часто. На это указывали и высокие пни от сваленных трех высоченных, отборных сосен, и то, как шла погрузка: вместо того чтобы вначале забросить на прицеп всем вместе тяжелый конец бревна, делалось наоборот, и лесник, приблизившись почти вплотную к прицепу, с забытым интересом наблюдал. И очевидно, именно потому, что он весь был совершенно на виду, его никто не замечал, и, только когда комель

бревна был взвален наконец на прицеп, уложен на место, Махнач, отдуваясь, обернулся и от неожиданности некоторое время ничего не мог сказать, затем, еще больше багровея шеей, присел на последнее, подтащенное к прицепу и приготовленное для погрузки бревно и с искренним изумлением произнес:

– Надо же, лесник, ну, мужики, оказия! Глянь-ка, сам Захар-Кобылятник... во, черт рогатый! Во, как сыч устался...

Последние, совершенно уже беспомощные слова застали его товарищей врасплох; Махнач был главным, и все бестолково заматались. Один бросился к трактору, второй, самый молодой, схватил стоявшую чуть в стороне, рядом с бензопилой, двустволку и выжидающе замер, а третий, тот самый, что командовал погрузкой и всей своей сноровкой и видом выдававший свое нездешнее, городское происхождение, с красивым, даже иконописным лицом, спокойно прислонился к прицепу и, посмеиваясь, как бы затаился в ожидании. Под четырьмя парами внимательных, настороженных глаз лесник спокойно подошел, любовно похлопал ладонью по шелушившемуся боку ровного соснового бревна, прикинул его длину на глаз.

– Хорош лесок, – вполголоса, как бы сам себе сказал он, еще раз по-хозяйски оглядывая прицеп с бревнами. – Поди, кубиков на десять навалили... а? Как думаешь, Фрол? – обратился он прямо к Махначу, доставшему и закурившему измятую сигаретку; тот закашлялся, затем зло плюнул себе под ноги.

– А ты, дед, откуда знаешь, как меня звать? – теперь уже с нескрываемой злобой спросил он, и глаза его, еще секунду назад растерянные, бегающие, вспыхнули и тяжело, с откровенной угрозой остановились на леснике.

– Знаю, кто ж тебя, такого знаменитого, не знает, – не сразу отозвался Захар и опустился на то же бревно, что и Махнач, только в отдалении от него; ружье у него оставалось за спиной, торчало стволом в небо, и он лишь поправил приклад, чтобы сидеть было удобнее; казалось, он расположился надолго, и это окончательно вывело из себя Махнача; вскочив, он ожесточенно, обеими ногами затоптал брошенную сигарету; понимая, что победа остается за тем, кто быстрее овладеет положением, он быстро, воровато огляделся; взгляд его еще раз остановился на сухой фигуре лесника с жилистой, старицовой шеей, с выпиравшими из-под выношенного пиджака костлявыми плечами, с длинным лицом, изрезанным глубокими, заросшими седой щетиной морщинами, – и первоначальный страх его прошел, его начала разбирать досада. Вскинув тяжелую голову, еле сдерживаясь, не упуская лесника из виду, он привычным, цепким взглядом снова скользнул вокруг; он еще не понимал намерений старого лесника, но что-то в последний момент помешало ему издевательски захохотать; Захара по-прежнему хорошо знали далеко окрест, и не только в своем районе, но и в соседних, во всей области, а после гибели его ученого сына Николая за спиной у Захара стояла, простиралась какая-то немалая, жуткая глубь, и, хотя он спокойно помаргивал сейчас начинавшими выцветать глазами, Махнач окончательно смешался. Парень, схвативший было при появлении Захара ружье, тоже как-то неловко, поспешно сунул его назад в кусты, затем, не отрывая ярких изумленных глаз от Захара, придвинулся к нему ближе и остановился, как-то бессмысленно улыбаясь; остальные двое чувствовали себя не лучше – ведь ко всему, что в самом деле присутствовало в жизни Захара, в его судьбу намертво вросло и много такого, что приписывала ему просто народная молва и чего никогда в его жизни не было и не могло быть. Так, например, после смерти своей старухи Ефросиньи вместо того, чтобы воспользоваться всяческими положенными ему от государства благами, он сделал нечто совсем уж непонятное и труднообъяснимое: забился в глухомань Зежских лесов и не побоялся поселиться на кордоне, где незадолго перед тем зверски вырезали всю многочисленную семью лесника Власа, что уже само по себе прибавило в народном мнении к судьбе Захара фантастическую окраску. А со временем слухи разрослись до невероятных размеров, особенно когда за дело принялись досужие, полные энергии от невиданных свалившихся на них пенсионных благ, старухи из окрестных сел в очередях

за молоком или хлебом. Судачили о многом: и о том, что он на старости лет живет с известной дурочкой Феклушей и у них каждый год рождается получеловек-полузверь, которого они тайно и скармливают рыбам в лесных озерах, а все больше топят свое диковинное потомство в том самом Провале, где дна, тони хоть сто лет, не достигнешь; и что сам Захар в определенные дни, перескочив трижды сам через себя, бродит по чащобе медведем, и лучше в такие моменты ему не попадаться – становится он кровожаден и никого не щадит, ни старого, ни малого; а то часто, стоит ему только захотеть и взглянуть – и любой встречный тотчас каменеет, ни рукой ему не двинуть, ни пальцем шевельнуть; и что с этим он ничего не может поделать, лишь страшно кричит по ночам от звериной тоски; и что определено ему такое за старые грехи и за то, что пошла от него порода, решившая вознестись выше самого неба, и что его самого ожидает совсем уж нечеловеческий конец: без смерти обратиться в ночного зверя и до скончания земли бродить и томиться в лесной чаще, пугать и доводить до умоисступления сбившихся с пути и блуждающих по лесу, и особенно девок и молодых баб, до которых в своей жизни был он неугомонный охотник. Само собой, мало кто верил всем этим шушуканьям сельских краснощеких пенсионеров, поневоле томившихся от безделья – от ранней пенсии, от не растраченной еще в работе силы, от отсутствия давно перемерших от самогона собственных мужиков. Но кое-что и прилипало, усиливая и без того множившиеся круги, тем более что именно в год появления Захара на кордоне зежские леса облюбовал молодой, уже начинавший матереть медведь; когда и как он появился, никто не знал, но со зверем в самых неожиданных местах встречались, и он уже получил уважительное прозвище **хозяина**. Все это мелькнуло в голове Махнача и его подручных и в какой-то мере объяснило безрассудное поведение Захара, его бесстрашие перед лицом четырех здоровых мужиков в глухом лесу; очевидно, это почувствовал и сам лесник.

– Ну что, мужики, – спросил он, вдавливая каблуком сапога окурки в землю и тщательно его перетирая, – будем делать? Кой черт вас под руку пнул? Гляди, от дурости... каких четыре дерева загубили... в заповедном месте-то...

Как-то тяжело, словно всхлипнув всей грудью, Махнач вздохнул и опять опустился на бревно, теперь уже ближе к Захару, покосился на него раз и другой.

– Дед, а дед, неужто ты нас того? – спросил он, выразительно придавив кору бревна плоским ногтем большого пальца.

– Ты давно, Фрол, из-за решетки выбрался? – вместо ответа спросил лесник.

– Ты меня, дед Захар, за старое-то не трожь, – засопел Махнач и угрюмо плюнул перед собой. – Старое тут ни при чем.

– Я тебя, Фрол, не за старое, за новое спрашиваю, – сказал лесник спокойно. – Кому-кому, а тебе пора бы закон знать. Не насиделся, дубинушка?

– А что мы такое сделали? – возмутился Махнач, опять переходя в наступление. – Ты вон своих всех по Москва расселил, живут себе там поживают, побольше нашего воруют. Даже царское добро из музеев порастащили, пограбили всякие там народные благодетели, и никто вроде не видит, никакой милиции на них нету. Раньше-то и цари так не безобразничали, свой карман от государственной-то казны различали...

– Ну вот-вот, один Фрол Поскрехин все тебе видит, – сказал лесник с неожиданным интересом, поворачиваясь к Махначу.

– Народ видит, – гнул свое Махнач. – Рыба с головы гниет, а закон должен быть один на всех. Им там сверху все можно, любую пакость тебе покроют, а ты тут за какое-то паршивое бревно распинаешься... А уж лес – он совсем ничей, что твой, что мой, что вон его, – кивнул он на одного из своих товарищей; лесник, слушая, вроде бы согласно кивал и все с большим интересом поглядывал на Махнача, разгоревшегося, даже помолодевшего от прихлынувшего вдохновения. – Ты, дед Захар, народу поперек горла не становись, ты хоть и заговоренный, брешут, вроде в огне купанный, а народ и тебя пересилит.

– Народ, может, и пересилит, да что-то народа я тут не вижу. Может, ты народ? – спросил лесник, про себя удивляясь, в какую диковинную сторону может повернуть человека тюремная наука. – Ну ну...

– Я тоже народ, – важно сказал Махнач и в подтверждение своих слов с ожесточением вонзил скособоченный каблук в мягкую лесную землю. – А с народом, дед Захар, ты лучше не шути. Народу, хоть он и дурак, тоже продых надо давать. Так что иди, откуда пришел, никого ты не видел, ничего не слыхал... старый ты, дед Захар, глухой, слепой, тебе помирать надо... загостился. Понятно?

– Понятно, – сказал лесник. – Что правда, то правда... Только я не виноват в том...

– Вот и хорошо, – обрадовался Махнач и облегченно вздохнул. – А если что, мы тебя, дед Захар, не обидим... Ну будь здоров, а то солнце вон куда подбирается. Договорились?

– Нет, Фрол, не договорились, – вздохнул и лесник. – Нельзя нам договориться, ты ведь по волчьей живешь и их тому же учишь, – махнув рукой, указал он на ждущих в стороне сотоварищей Махнача, тотчас ставших глядеть куда-то вразнобой, только не на лесника и не друг на друга. – Добро бы на хорошее дело, – тяжело шлепнул лесник по бревну, шелушащемуся тонкими, дрожащими от малейшего движения воздуха струйками коры, – а то ведь на баловство. Продадите да пропьете. Ты вот распинаешься, на Москву киваешь, на всякое там высокое начальство, а ты лучше на себя-то глянь, четыре здоровых дерева загубил... Пришел бы на кордон, я бы тебе больные, вредные для леса показал – бери, только вывози... А так бардак получается, я тебе, Фрол, в лесу безобразничать не дам, я перед ним в ответе. Ты глазами не жги, так и быть, на первый раз я вот этих дуроломов пожалею. – Лесник кивнул в сторону все так же переминавшихся с ноги на ногу парней и решительно встал, еще раз подчеркивая, что разговор закончен. Встал и Махнач, тяжело свесив длинные руки с увесистыми кулаками; крутая, жилистая шея у него медленно багровела. Между ним и Захаром словно появился какой-то непроходимый водораздел; по своему необузданному, дикому характеру Махнач давно должен был сграбастать занозистого лесника, сорвать с него ружье и отправить восвояси, хорошенько пнув в тощий зад. Однако он знал, что не сделает этого, вообще никакого вреда леснику не сделает, потому что удерживал не сам лесник и не закон, бывший на его стороне, а что-то другое, что стояло за спиной у самого деда Захара и что нельзя было объяснить словами, но чего никак нельзя было и переступить. Махнач от бессильной злобы со всего маху саданул носком сапога в сосновое бревно, на котором только что сидел, сморщился от боли и, припадая на ушибленную ногу, бешено заковылял в сторону; глаза у него туманила боль. Он тяжело глядел на самого молодого, осмелившегося захохотать напарника, вязко сплюнул в его сторону. Смешливый парень сразу затих. Махнач спросил Захара почти спокойно:

– Порешили, что делать будем, дед?

– Порешили, акт составим, – сказал лесник. – Подпишете, лесок скатите и мотайте на все четыре...

У Махнача от такой наглости, казалось, опять перехватало дыхание, и он, сдерживаясь, изобразил на лице улыбку.

– Так прямо и подпишем? – протянул он, продолжая скалиться. – А где же твоя бумага? Ты, может еще и писать умеешь, дед Захар?

– И бумага найдется, – пообещал лесник и полез в боковой карман. – И писать умею...

– Ну дед, вот дед! – восхитился Махнач и в ту же минуту одним махом оказался рядом с Захаром, сорвал с него ружье и отшвырнул. Голова лесника, когда Махнач срывал с него ружье, дернулась, он сильно толкнул Махнача в грудь, но тот лишь крикнул, играючи, как-то небрежно – от сознания собственной силы – заломил леснику руки за спину и, широко раскрывая рот, криком приказал:

– Ганька, веревку!

На лесника из глубокой, жаркой пасти шибануло теплой сивухой; Захар попытался вывернуться из цепких медвежьих рук Махнача, но не осилил и через несколько минут был крепко прикручен к толстой высокой сосне, а Махнач стоял перед ним и насмешливо скалил ровные, крепкие зубы.

– Что, дед Захар, достукался? – спросил он с легкой издевкой. – Ну вот теперь и постой, почешись...

– У-у, харя пьяная! – отозвался лесник, все еще не веря случившемуся и оттого передергивая плечами, как бы пытаясь выскочить из опутывающих его веревок. – Я тебе почешусь, я тебе почешусь! Я тебя еще достану! Я на тебя намордник-то вот еще какой накинута!

– Черта с два ты меня теперь достанешь, дед! – похвастался Махнач. – Давай, мужики, скатывай лес, пусть он им подавится, старый черт!

– Я в другой раз тебя укараулю, – пообещал лесник, не в силах смириться со своим позорным и неожиданным поражением и все еще тяжело дыша начавшей в последний год побаливать грудью. – Разве ты человек? Зверь, тебя по-звериному и брать надо... Справился, бугай чертов!

– Не ерепенься, дед Захар, – теперь уже вполне миролюбиво говорил ему Махнач. – Другого раза не будет, я не такой дурак еще раз к тебе припожаловать. Гы-гы-га! – ржал он на весь лес, довольный исходом дела. – Я в других местах дело себе вышупаю... нашел дурака связываться с тобой! Раз тебя пристукнуть по-христиански никак невозможно, пусть с тобой черт одной удавкой связывается. Гы-гы-га! Да я и знать ничего не знаю, что, скажу, сбесился, какой лес? Да я ни в какой лес уже сто лет не ходил, иди доказывай! Гы-гы-га!

Пока Махнач изгалялся, остальные трое из его компании, донельзя довольные оборотом дела и решением своего главаря, в один дух разгрузили прицеп: столкнуть бревна на землю не составило большого труда. Сам Махнач, уже совершенно успокоившийся и даже примирившийся с убытком (сосновые бревна он намечал выгодно загнать в соседнем селе Полуяновке и сговорился в цене), поднял из травы Захарову двустоволку, под укориженным взглядом лесника по-хозяйски оценивающе оглядел ее, даже зачем-то пощупал, пробуя на крепость, приклад. Затем вынул из стволов патроны и, сильно размахнувшись, забросил их в густо заросшую травой и кустарником низину; лесник проследил за ними глазами.

– Вот так-то лучше, – сказал Махнач, затем, вспомнив, подошел к леснику, ощупал ему карманы, ничего не нашел и остался доволен; он уже втянулся в своеобразную игру, и ему нравилось быть возле Захара.

– Ты хоть рожу отверни, – попросил лесник, – бардой гнилой разит... Тьфу, дух перехватывает!

– А ты, дед Захар, не завидуй, – миролюбиво посоветовал Махнач, и под его густыми, косматыми бровями, словно от какой-то неведомой радости, просияли до сих пор озабоченные и злые глазки. – Ты в свое время, говорят, тоже немало почудил... тоже не святой, вон бабу себе какую умыкнул на кордон! – последнее Махнач выговорил с особым значением и, оглянувшись на товарищей, громко заржал.

– Дубина, ох дубина, – процедил лесник. – Неужто у тебя начисто совести никакой не осталось, всю ее по кочкам растащило?

– Угадал, угадал, подчистую, дед Захар, всю! – весело подтвердил Махнач. – Такого товару теперь днем с огнем в нашем государстве не сыщешь! Ишь чего захотел!

– А ты за целое государство чего распинаешься-то? – опять не сдержался лесник. – Ты с какого бока к нему присобачился? С бандитского?

– Ничего, дед, ничего, потерпи, – опять обрадовался Махнач и, с издевкой помахав на прощанье рукой, вскочил на прицеп, где его уже ждали остальные. Легонький, верткий трактор с места словно шарахнулся от испуга, метнулся в одну сторону, в другую и быстро исчез за уплотнившейся вдали красноватой массой сосен; проводив его глазами, лесник остался стоять,

чувствуя начавшие затекать от сильно затянутых веревок руки. «Ну босяк, ну бандит народ пошел, – подумал он почти без всякой злости. – Никого не боится, ни Бога, ни черта!»

Захар хотел хлопнуть комара на лбу, даже рукой дернул, затем, вспомнив, отрывисто, коротко свистнул. И тотчас откуда-то из-за спины у него вывернулся Дик, сел напротив, преданно и неотрывно глядя хозяину в лицо, по-своему, по-собачьи, упрекая его. Позови лесник Дика раньше, все могло быть по-другому, он не помнил, чтобы пес хоть раз нарушил его приказ, так уж между ними установилось в жизни.

– Ну что ж, – задумчиво вслух подумал лесник. – Оно, может, так и лучше, нынешний-то народ какой – зверье, им и человека-то загубить ничего не стоит, а про собаку и говорить нечего..

Внимательно выслушав, пес остался сидеть, все так же неотрывно глядя на хозяина; лесник, еще раз попробовав крепость веревок, напрягся всем телом, закричал и обмяк.

– Бандюги, – проговорил он, задышав, и заставил себя стоять спокойно; что-то тупо ударило под ключицу и горячим обручем сдавило виски; подождав, пока отпустит, лесник опять обратился к Дику: – А Серый где, а?

На этот раз Дик слегка шевельнул ушами, и лесник понял, что Серый тоже где-то рядом; неловко ворочая шеей, он попытался разглядеть, в каком месте затянуты на нем узлы, но этого ему увидеть не удалось: Махнач вязал по всем правилам и узлы на веревке затягивал сзади, за спиной; Захар стал думать, что предпринять и как освободиться, в то же время почти неосознанно пробуя и пробуя веревку на крепость, шатаясь слегка всем телом из стороны в сторону. Солнце теперь поднялось уже достаточно высоко, и здесь, где сосны росли редко и не соприкасались вершинами, воздух становился суше; сильнее, ядренее запахло свежей смолой. Шум трактора уже давно затих вдали, и теперь вокруг рождались и жили только лесные, порой почти совершенно недоступные неискушенному слуху звуки. И еще, отряхиваясь от слепней и комаров, неподалеку звякал уздечкой Серый; лесник повернул голову, увидел коня, подбиравшего с земли мягкими губами молодую шелковистую траву, и подумал, что придется посылать Дика на кордон за Феклушей, хотя ему очень не хотелось пугать ее, это непонятное существо, незаметно пристроившееся и пригревшееся к концу жизни подле него, и он, постаравшись дать отдохнуть занывшему, измятому телу, обвиснув на веревках, закрыл глаза. Дик подождал и лег, положив голову на передние лапы. Помаргивая, он то и дело вскидывал то один, то второй глаз на хозяина, в то же время не упуская из виду Серого, пасущегося на молодой, сочной траве. Лесник почувствовал лицом начинавший тянуть порывами теплый ветерок; душу у него понемногу отпустило, он уже сам готов был над собой посмеяться, такого с ним и близко не случалось за все время работы на кордоне, но это было бы полбеды. Нехорошо другое, люди достали его и здесь, когда он уже привык думать, что совершенно освободился от них и что отмеренные ему дни пробегут незаметно, тихо, уйдут, словно летняя дождевая вода в песок, утечет вместе с ней и он, и кроме этого ничего ему больше не надо. Раньше-то себя можно было и обмануть, все жить хотелось, сделать что-нибудь хотелось, а теперь другая пора пришла, все насквозь видится. Вместе с гибелью Николая, а затем и с уходом вскоре после этого Ефросиньи в душе что-то оборвалось; может быть, именно тогда всей тяжестью своей жизни он понял, что и в мире, и в себе ничего нельзя переделать, изменить, что в мире есть что-то более важное и вечное, чем бесполезная борьба с самим собой и с другими, ему подобными, и что именно к этому вечному, притягивающему своей неразгаданностью, только и надо стремиться. И еще он понял, что кто то посторонний и безжалостный, как когда-то скрывавшийся в сплошной метели, всю жизнь направлял его путь, определял повороты и конечный результат, каким-то удивительным образом бил наотмашь всякий раз безошибочно выбирая самую сердцевину, самую боль. Но если этот посторонний в самом деле был, то куда он затем исчез и как же это он сам ни разу не попытался устроить ему очную ставку, встретиться один на один, не попытался от него избавиться? Вот, к примеру, куда сейчас запропастился неизвестный вершитель,

почему он, старый человек, ни за что ни про что стоит привязанный к дереву; ведь это в нем самом есть что-то такое неуступчивое, с чем он и сам сладить не может; хотя бы сегодня стоило ему попытаться как-то поладить с этими охламонами, выслушать Махнача по-другому, схитрить чуть – и все бы закрутилось в обратную сторону.

Лесник открыл глаза и вскинул голову; он было задремал и даже отчетливо помнил расплывшуюся по небу, клубящуюся черную тучу и, как это бывает во сне, совершенно беззвучно распоровшую небо лиловую молнию.

Его взгляд сразу же выхватил по-звериному бесшумно крадущегося куда-то Дика; шерсть у него на загривке приподнялась, хвост вытянулся палкой и был по-волчьи неподвижен.

– Стой, Дик, – приказал лесник. – Лежать, говорю тебе, слышишь? Ну, а ты чего? Не тронет, не дрожи, – повысил он голос, обращаясь к тому самому смешливому Ганьке из компании Махнача, боязливо вышагнувшему из-за сосны в отдалении, когда Дик все так же бесшумно, бесплотной тенью опустился в траву, носом по направлению к опасности. Ганька мялся и не шел ближе, и Захар повторил:

– Сказано, не тронет... Забыл что-нибудь, а, соломенная душа?

– Не-е, чего забыл, – отозвался Ганька, продолжая с опаской коситься на Дика. – Развязать послали, можно подойти-то, дед Захар?

– Вот как, ну спасибо, спасибо, – оживился Захар, с интересом глядя на осторожно, нехотя приближавшегося парня: шажок сделает и запнется, еще шажок – и опять запнется. – Пожалели, что ль?

– Махнач говорит, иди развяжи, нас он теперь не достанет, – уже смелее сообщил Ганька, в то же время далеко стороной огибая приподнявшего голову Дика. – А то, мол, подох... помрет, то есть, дед, беды с ним не оберешься, на том свете за него, говорит, сыщут и спрос держать заставят. Ну его, мол... старого... кхы... то есть, деда этого...

Внимательно выслушав объяснение Ганьки, лесник развеселился; не торопясь Ганька развязал, распутал все узлы, аккуратно сложил и с крестьянской обстоятельностью связал веревку и повесил ее себе через плечо, затем они с Захаром присели на бревно, будто между ними ничего не было; Ганька неожиданно разговорился, стал рассказывать о своей жизни, о недавней неудачной женитьбе (баба оказалась порченная и норовистая, на коне не объедешь); Захар слушал и с чувством досады думал, что ничего нового и стоящего на свете люди так и не придумали.

## 4

Из-за неожиданного происшествия Захар возвратился на кордон поздно: солнце перевалило за полдень. Феклуша не выбежала его встречать к воротам; придержав Серого, он внимательно осмотрелся. Несомненно, на кордон опять неожиданно-негаданно явился кто-нибудь из Москвы, может быть, заполошный внук Петр, может, сама Аленка припожаловала. Дик что-то тщательно вынюхивал на узкой земляной дороге, теряющейся среди леса и соединяющей кордон с остальным миром. Понаблюдав за ним, лесник тронул коня; едва он успел въехать в решетчатые, слегка приоткрытые воротца, на крыльцо выскочила Феклуша, больше обыкновенного растрепанная и вся какая-то взбудораженная; глаза у нее сияли в пол-лица. Схватив повод у Захара, она стала что-то объяснять, но от переполнявшего ее возбуждения лесник ничего не понял; соскочив с коня, махнув рукой на сарай, показывая, чтобы Феклуша отвела на место Серого, он быстро окинул подворье взглядом, Феклуша не унималась, притопывала босыми ногами с растрескавшимися пятками, махала рукой, дергала Серого за повод, отчего конь тоже стал беспокойно перебирать ногами. Не упуская из виду сразу же устремившегося к крыльцу и замершего перед ним Дика, лесник сказал:

– Отведи коня, Феклуша, потом, потом расскажешь! Ну что тебе еще? Веди, ведем коня...

Он на полуслове оборвал: из сеней на крыльцо вышел мальчик лет шести, в коротких штанишках, с болезненно-белыми ногами и таким же нездоровым лицом. Что-то в лице мальчика было мучительно знакомое, но Захар не успел ничего подумать или почувствовать. Не сводя зачарованных глаз с Дика, мальчишка резво сбежал с крыльца и, не долго думая, очутился возле отпрянувшего назад огромного пса; худая ручонка зарылась в густую бурю шерсть, стала ее ворошить, и лесник предостерегающе окликнул пса, приказывая сидеть, но Дик и сам от изумления и обиды совершенно потерялся, лишь верхняя губа у него приподнялась, сморщилась, обнажая крепкие желтоватые клыки, и из горла вырвалось теплое, обиженное ворчание – такого ему еще не приходилось терпеть. Радостно и звонко засмеявшись, мальчик теперь уже двумя руками крепче обхватил шею собаки; ошалело мотнув головой, освобождаясь от непрошеной назойливой ласки, Дик все с тем же горловым, давленным ворчанием отбежал от греха подальше, сел было, высунув язык, и, конфузясь, потряс головой, освобождаясь от незнакомого, вызывающего желание чихнуть, запаха; тут же, спасаясь от непрошеного гостя, вновь бросившегося к нему, он в два прыжка достиг изгороди, перемахнул через нее и пропал в кустах.

Лесник перевел дух, а Феклуша затопала, заплесала и, приговаривая себе под нос что-то ласковое, нежное, дернула повод и повела коня в сарай, все так же пританцовывая, что служило у нее признаком радости и благополучия. Захар же направился к мальчику, исподлобья смотревшему теперь ему навстречу. Несмотря на давнее, усилившееся после сегодняшнего утреннего знакомства с Махначом и его компанией желание держаться от людей подальше, лесник начинал чувствовать к неизвестно как и зачем появившемуся на кордоне маленькому человеку уважение: его безрассудная смелость с Диком понравилась леснику и взволновала его, всегда любившего детей. И хотя он давно отвык от них, ему неожиданно захотелось ощутить, вспомнить руками, именно руками, шелковистые, пахнувшие теплом волосы на голове ребенка. Мальчик, рассматривая подходившего незнакомого старика с ружьем за спиной, слегка запрокинул голову, и у лесника стукнуло сердце – он узнал яркие, иссиня-серые мрачноватые глаза; непостижимо далекий отсвет молодости затеплился у него в душе, и горло неожиданно больно дернулось: он вспомнил, как бережно держал на руках своего младшего и вглядывался в его точно такие вот мрачноватые глаза, опущенные густыми ресницами.

– Пойдем сядем, чего нам стоять-то? – скупо сказал лесник мальчику. – Вон ты какой, оказывается. Денис Брюханов... ну-ну...



У крыльца дома в тени привольно разросшейся яблони-дикушки, оставленной почему-то старым хозяином кордона без прививки, Захар сел на старую, прочную скамью. Мальчик, еще не проронивший ни слова, тоже вскарабкался на скамью и чинно свесил ноги в затейливо вязанных, нездешних, длинных – чуть ли не до колена – носках и таких же пестрых, с заграничным клеймом, маленьких точно игрушечных кедах; он болтал ногами, с любопытством подглядывая искоса на Захара. От неожиданной трудности начать разговор лесник достал из-под скамьи заготовку и стал плести хлыстик из сыромятной кожи; мальчик оживился, с пристальным интересом наблюдая за подробными, неторопливыми действиями лесника, и тот, не выдержав, засмеялся.

– А ты, Денис, разговаривать умеешь? – спросил он, пробуя прочность плетения. – Язык у тебя есть?

Денис засопел, еще больше поджался и, перестав мотать ногами, не по-детски тяжело нахмурился; легкая краска начала заливать его лицо и шею.

– Ладно, ладно, – заторопился Захар, отмечая про себя такую не свойственную ребенку обидчивость. – Ишь ты какой... ершистый... Ты как сюда-то залетел? С каким ветром?

– С бабушкой Аленой приехал, – не сразу ответил мальчик, махнув рукой в сторону крыльца. – У нее голова заболела, она лежит... У нее часто голова болит...

– Во-он оно что, – медленно сказал Захар, – значит, голова... Ну ничего, пройдет, пройдет... У нас воздух хороший, лесной.

– Ты, дедушка, почему такой старый? – неожиданно спросил Денис, пристально и беззастенчиво рассматривая лесника.

– Время пришло, – ответил Захар спокойно, пытаясь угадать, что там в Москве случилось и зачем Аленке понадобилось приезжать с внуком на кордон в спешном порядке. – Знаешь, Денис, я долго-долго жил и стал таким вот старым-старым...

– А зачем ты жил так долго? – опять спросил Денис.

– Кто его знает, – так же серьезно отозвался лесник. – Никто такого дела не знает, и я сам не знаю...

– А я знаю, – заявил Денис. – Это оттого, что ты – дедушка. А собака эта твоя?

– Собака моя, – обрадовался лесник. – Диком зовут... Дик... а по-нашему, по-простому – Дикой...

– А почему она убежала? – нахмурил брови Денис. – Она испугалась?

– Она тебя испугалась, – сказал лесник улыбаясь. – У нее даже зубы оттого заболели.

– Зубы? – поразился Денис и добавил мечтательно, показывая палец: – У Дика вот такие большие зубы!

– Зубы у него большие, – согласился лесник. – Дик теперь смотрит на тебя.

Денис оживился, завертел головой; слова Захара обрадовали его.

– Сиди, сиди, – опять сказал лесник, наблюдая за подвижным лицом мальчика. – Дик подумает-подумает и придет, только ты его за шерсть-то не дергай. Он обидчивый, себя уважает, привык, чтобы его вот так не дергали за усы...

– А что, Дик обиделся? – помолчав, спросил Денис, раскрывая глаза шире. – Я же совсем не больно...

– Понимаешь, не то чтобы он так уж обиделся, – поспешил успокоить мальчика лесник. – Просто увидел он тебя в первый раз, не привык еще, не принялся...

Показалась Феклуша, стремительно, подлетела к крыльцу все с тем же выражением изумления и счастья на лице и замерла возле Дениса. Захар взглянул в ее смятое радостью лицо; ничего, оказывается, не кончилось и все опять только начинается. Вот откуда-то из бездонной глубины детски непроницаемых безжалостных глаз на него глянуло что-то перехватившее дух: он на мгновение увидел собственное исчезновение, перед ним был вестник конца и его оправдание – нерассуждающее, спокойное. Вот чем его так поразило с первого же взгляда появление

правнука, и помогла ему это понять сейчас Феклуша. Мысль была больная и не новая, нельзя было только дать разрастись ей в себе.

– Феклуша, хватит тебе выплясывать, – сказал он сдержанно, стараясь не обидеть ее и еще больше не разволновать. – У тебя там что-нибудь сварено?

– Есть, есть! – с готовностью закивала Феклуша все с теми же непривычно сияющими глазами и, по-молодому проворно взлетев на крыльцо, исчезла.

– Есть хочешь, Денис? – спросил лесник. – Пойдем...

– Я уже ел. – отказался мальчик, – я не хочу.

– Пойдем, молока выпьешь, – сказал лесник, припоминая, что нужно делать и говорить в таких случаях. – Молоко свежее, хорошей травкой пахнет... Ты такого и не пробовал.

– Пробовал... Феклуша давала, – с готовностью сообщил Денис.

– Раз так, оставайся, – согласился лесник. – Только никуда далеко не уходи, лес кругом... я потом тебя проведу и все покажу...

– А волк есть? – спросил Денис, как-то боком, по-птичьи взглядывая на Захара.

– Есть, в лесу все есть, – вздохнул лесник, проскрипев досками на крыльце и скрылся за дверью. Феклуша уже махала ему, высунувшись наполовину из окна, звала к столу, на котором дымились глубокая миска щей и стоял кувшин с молоком, глиняная кружка. Аленка, судя по Феклуше, старавшейся двигаться тише, расположилась в соседней, большой горнице, как ее называли на кордоне, и лесник успокаивающе кивнул Феклуше, показывая, что не будет шуметь, достал из настенного шкафчика хлеб, нарезал его. Это была его обязанность, Феклуша хлеб никогда не резала и даже отворачивалась, когда это делал Захар или кто-нибудь другой. Покосившись на двустворчатую дверь в горницу, лесник беззвучно положил нож и стал хлебать щи, невольно прислушиваясь к звукам, доносившимся в приоткрытое окно; перед глазами у него по-прежнему стояло упрямое породистое лицо правнука с крупными сильными бровями, с яркими серыми, совершенно дерюгинскими глазами. Привычный, размеренный бег времени нарушился, и лесник все больше хмурился. Ему не нравился обрушившийся как снег на голову внезапный приезд Аленки, то, что она вот так, не известясь, взяла и явилась, а ведь они уже не виделись лет пять, не меньше (подняв глаза к потемневшему от времени дощатому потолку, беззвучно шевеля губами, он посчитал); выходило, что не виделись они с дочерью даже больше, чуть ли не все шесть. Правда, письма от Аленки приходили регулярно, чаще, чем от сыновей. Захар отметив это как нечто существенное, словно впервые увидев, медленно обвел взглядом просторную, высокую комнату с окнами на обе стороны, с большой русской печью и с плитой, приткнутой вплотную к печи; бревенчатые, гладко выструганные стены, хорошо и ровно проконопаченные в пазах, всегда успокаивали его, придавали чувство уверенности. Он налил и выпил кружку густого, прохладного молока, принесенного Феклушей из подвала, и вышел на крыльцо. Феклуша как раз вынесла поесть Дику, и теперь Денис стоял рядом с ней, и оба с одинаково заинтересованным выражением на лицах смотрели, как Дик, выхватывая куски из большой плоской миски, казалось, не разжевывая, тут же их проглатывает. Солнце заливало кордон, куры нежились в пыли, распутив крылья, и надо было бы забраться куда-нибудь в тень, отойти от наполненного событиями дня, подумать, как поступить с порубщиками; почти сразу же обернувшись, лесник увидел в чем-то изменившееся и в то же время незабываемое родное лицо дочери и в первый момент стушевался; несмотря на часто получаемые от нее фотокарточки, он огорчился, что она тоже как-то подсохла, стала другой, в чем-то уже похожей на Ефросинью, свою мать. Аленка, со своей стороны, тоже, правда, больше от неожиданности, с некоторой даже растерянностью присматривалась к отцу: она ожидала увидеть глубокого старика, но Захар от лесной жизни, от постоянного движения и простой здоровой пищи выглядел значительно моложе своих лет. Перед Аленкой стоял, прищурившись, крепкий, высокий и сухощавый мужчина, с густой шапкой спутанных темно-русых, с сильной проседью, волос,

с изрезанным морщинами лицом, и ему можно было дать и пятьдесят, и шестьдесят: от него веяло крепкостью и здоровьем.

– Здравствуй, отец, – чуть помедлив, как-то пристально, словно со стороны глянув ему прямо в светлевшие глаза, сказала Алена, торопливо шагнула и ткнулась головой в плечо. Он слегка обнял ее за плечи и, ничего не говоря, тут же отпустил. Она почувствовала его состояние и, опять глянув ему в глаза, слегка улыбнулась: – Сердишься?

– Долго ты собиралась, – отмахнулся он. – Я уже и ждать перестал, думал, может, на похороны только и выберешь время...

– Ладно, что ты! – как-то просто, по родному остановила она его. – Зачем? Я же писала, у меня тоже все клубком, не разматывай... А у тебя тут хорошо-то как! – протянула она, жадно осматриваясь, запрокидывая голову к высокому, словно вымытому дождями небу. – Я и забыла, что небо бывает такое чистое... Как воздух!

Почувствовав на себе испытующий взгляд отца, Аленка как бы опала.

– Мне так нужно было поговорить с тобой, – сказала она. – Я совсем запуталась, я и к тебе потому приехала...

– Долго думаешь погостить? – осторожно и не совсем уверенно спросил Захар, пытаюсь вспомнить что-то необходимое, нащупать верный тон в разговоре.

– Дня два... три, возможно, – помедлив, ответила она. – Я бы тут, кажется, совсем осталась, если бы от меня только зависело. От воздуха, что ли, голова разболелась... я даже, кажется, заснула, ты прости, отец...

– Ладно уж, – остановил ее Захар, понимающе улыбаясь и продолжая против своей воли отмечать новые и новые подробности в облике дочери; его всегда удивляло желание людей говорить о том, что и без слов было ясно.

– Хозяйство у тебя какое, – озадачилась Аленка, оглядываясь вокруг. – Ты писал, правда, из письма не все можно понять, надо увидеть. Скажи, отец, а тебе не трудно? Тебе ведь уже...

– Куда за семьдесят, – подсказал Захар, видя, что ей непросто вспомнить. – Хозяйство хозяйством, – тут же перевел он разговор на другое, – ничего нет трудного. Одному вроде сначала дико показалось, а там вон Феклуша прибилась... Ничего... лес, он тоже живей живого. От людей, от их пустозвонства – одна оскомина, заморился я от них, дочка. А тут чистота, небо да лес... Феклушу-то помнишь?

Она промолчала. Захар лишь заметил ее брезгливо поджавшуюся нижнюю губу и тоже как бы слегка отодвинулся; нужной, откровенной близости пока не получалось: что-то мешало им обоим. Аленка, пожалуй, впервые почувствовала неосознанную тревогу – все могло еще обернуться какой-нибудь новой неожиданностью. Она и раньше не знала, правильно ли поступает, бросаясь сюда, в глушь; нельзя ведь до конца рассчитывать на семидесятилетнего старика, пусть и отца, все равно ведь глубокий старик, не может он взять на себя такую нагрузку – стать окончательной решающей инстанцией в клубке ее запутавшихся отношений с миром. Человек с годами меняется, природу не переделаешь: отец отцом, а жизнь жизнью; каждый рассчитывается сам за свои ошибки, вольные и невольные. Пока ничего не надо говорить, что-нибудь придумается, решила она, к старому отцу можно и без всяких причин приехать, просто навестить, повидать. И отцу, пожалуй, не за что на нее обижаться: она всегда его помнила и после похорон матери сразу же пыталась увезти в Москву, переключить его внимание на внуков, но безуспешно – и не ее в том вина. Очень хорошо, что отец вновь обрел в своей жизни устойчивость, необходимое равновесие, она рада за него, хотя и этого не скажешь прямо, Бог знает что он может подумать...

Захар по-своему расценил их затянувшееся молчание, начиная понемногу привыкать к ее присутствию рядом, к ее изменившемуся облику.

– Денек-то, видишь, какой светлый, праздничный... Успею поговорить-то. Помнится, когда-то ты лес любила...

Благодарно вскинув глаза, она кивнула, хотела спросить, не опасно ли мальчику рядом с такой огромной и дикой собакой, но тут же подумала, что, если отец спокоен, значит, и спрашивать незачем; она лишь коротко поинтересовалась, что приключилось на кордоне с Петей.

– Как тебе сказать,.. – ответил Захар, слегка шевельнув ладонями. – Какой-то он смутный. Посадками на горях да вырубках интересовался, дня три в семхозе просидел, у нас питомник так называется, семена, посадочный материал – на несколько областей... Элитное хозяйство... Приглядывался я к нему, ничего не понял. Вроде с чужинкой парень... В лесничестве у нас два дня торчал, вот Воскобойников приедет, расскажет, слышно, он все больше с ним что-то хороводился... А затем пропал, я, говорит, хочу по местам старых боев побродить... пошел и пропал, ни слова ни полслова тебе. Хорошо, хоть телеграмму отбил уже из Москвы, а то что хочешь, то и думай... Какой-то он мне показался... гм! – замылся Захар, встретив страдающий, больной взгляд дочери, выбирая словцо попроще, помягче, стараясь не обидеть, не причинить ненароком лишней боли, прокашлялся. – Он того... пьет, что ль?

– Долгий разговор, отец, – ответила Аленка, как-то сразу старея лицом. – Раньше было, а сейчас не знаю, в Москве он только наездами, а что там у него в Хабаровске – не поймешь... Мы еще поговорим об этом...

Захар проводил ее взглядом, поняв, что нечаянно зацепил за самое болезненное, и Аленка медленно, в раздумье вышла за изгородь, через все те же наполовину распахнутые решетчатые ворота, и сразу оказалась в лесу.

\* \* \*

Беспредельная, какая-то провальная тишина, вернее, пустота вокруг нее, да и в ней самой, после гибели мужа ширилась с каждым новым днем; теперь Аленка по вечерам избегала возвращаться в пустынную, гулкую, сразу ставшую непомерно громадной квартиру. Под любыми предлогами она допоздна задерживалась на работе, у друзей, придумывала себе всякие мыслимые и немыслимые дела, но возвращаться домой все-таки приходилось, нужно было хоть недолго спать, переодеться, как-то поддерживать свои силы; останавливаясь перед высокой щегольской дверью, она всякий раз с робостью, почти со страхом медлила. Она с нетерпением ждала пятницы, когда вечером Денис на субботу и воскресенье вновь возвращался домой (его отводила и приводила соседка-пенсионерка за небольшую плату); теперь Аленка все чаще подумывала перестроить всю свою жизнь, забрать Дениса из садика совсем и самой заняться его воспитанием. В конце концов постепенно вновь появится атмосфера семьи, дома, утраченного смысла жизни. Аленка чувствовала, что на этот раз никакая работа, никакая наука не поможет, не спасет; только после катастрофы она поняла, кем был для нее Брюханов... Проходили дни, недели, месяцы, и пустота, одиночество становились все глубже и невыносимее; не хватало сил решиться на самый необходимый, спасительный шаг – оставить на время работу и заняться Денисом. От отчаяния, от беспросветной черноты ее душу мог спасти ребенок, именно Денис, она должна была вернуть ему все, что недодала собственным детям; и вот однажды в середине недели, сославшись на недомогание, она ушла домой из института посреди рабочего дня, отменив все намеченные дела и встречи. Больше откладывать было нельзя; она уже видела, как совершенно иначе начнет жить с этого дня и как обрадуется Денис, этот маленький человек, – ведь они уже привязаны друг к другу и ничего лучше этого придумать нельзя.

Чувствуя себя помолодевшей, выйдя из лифта, она остановилась, отыскивая в сумочке ключи; высокий прямоугольник двери, обитый золотистым дерматином, хранил тишину и тайну; ей теперь всегда казалось, что стоит ей переступить порог – и случится чудо; порой ей и в самом деле слышался из-за двери голос Брюханова. И на этот раз что-то темное горячо толкнуло в душу, но Аленка не позволила себе распуститься; аккуратно повесив на вешалку пальто,

она, хотя было еще достаточно светло, зажгла везде свет. В гостиной, празднично преображая комнату, вспыхнула и засияла нарядная хрустальная люстра; с неосознанным удовольствием (Тихон настоял приобрести для гостиной самую дорогую, роскошную люстру из тех, что имелись в магазине), прищурившись, она полюбовалась на затейливо переливающиеся хрустальные подвески, затем не торопясь пошла по всей квартире из комнаты в комнату, и за ней всюду вспыхивал свет. Она с любопытством заглядывала в самые темные углы и закоулки, открывала дверь даже в кладовку, примыкавшую к кухне, куда она уже бог знает сколько времени не забредала; она осматривала свое жилище словно бы заново – для какой-то иной, новой жизни. – и везде встречала запустение; и на нее опять навалились отчаяние и безысходность. Поскорее выбравшись в гостиную, она села к большому овальному столу, за которым когда-то в разные счастливые минуты собиралась вся семья. Куда и зачем она все время спешила? Аленка ненавидела сейчас себя за эту непрерывную спешку в надежде ухватить за хвост призрачную и, как теперь ясно, несуществующую жар-птицу. Зачем нужна была дикая, непрерывная гонка – ее докторская? Сколько минут, часов, дней, лет, наконец, недосчитались они с Тихоном, человеком, как выяснилось, единственно ей нужным? Ведь она могла бы ездить с ним всюду, помогать ему словом, улыбкой, прикосновением, она могла бы просто не дать ему умереть в трудный, невыносимый момент. Боже! Боже! Прости! Не счесть, сколько на ее памяти было таких моментов... А сколько она вообще не знает, а должна была бы знать... Счастье незаметно: сидеть рядом, чувствуя родное плечо, просто молчать, знать, что твои мысли поймут без слов. Всю жизнь мужик тянул, как вол, и, конечно же, с ним всегда должен был находиться кто-то свой, близкий, понимающий... Она сама убила его раньше времени... И ведь ни разу, никогда за целую жизнь он не укорил ее... А дети? Что они видели от нее? Дорогие игрушки? Теннисные корты, лучшую школу в Москве? Ежегодное лето в Крыму, море? Тихон по своей занятости вообще света белого не видел, она же в вечной своей гонке откупалась и старалась подороже платить за призрачную видимость свободы... Только ведь и свободы-то никакой не было, дети слышали от нее лишь о необходимости честно трудиться, да и видели их с отцом только за работой, вот они и разбежались кто куда, лишь бы поскорее из дому... И у Пети от этого такое раннее повзросление, стремление поскорее окунуться во взрослую жизнь, стать самостоятельным. А Ксения вообще при первой же возможности выскочила замуж вторично, лишь бы прочь из дома, подальше от придавленных вечной работой отца с матерью, от собственного ребенка, чтобы не чувствовать рядом с ними тяжесть невыполненного долга.

Вот теперь-то и сама она поняла наконец детей, поняла сына, а еще больше – дочь. Боже мой, Боже мой, Господи, за что, не так уж я и грешна, сказала она, обращаясь к кому-то всемогущему, всевидящему и всепрощающему; прорвалось что-то от Густы, от матери, от бабки Авдотьи, от той поры, когда она, забившись व्यюжной ночью на теплую печь, с замиранием сердца слушала рассказы о нечистой силе, о ведьмах и домовых. Нехорошо, нехорошо, вот и собственную дочь она никак не может простить за сиротство Дениса, можно примириться, попростить... Нет, совершенно ничего не восприняли ее дети ни от деда с бабушкой, ни от отца с матерью; вполне вероятно, что новое поколение и появилось уже с усталостью в крови от перегрузок родителей, что же с них спрашивать. Теперь-то это доказывается научно: синдром генетической усталости, и его последствия нельзя вытравить уже никакими материальными благами, за что же на них сердиться? Чем они виноваты? Просто надо скорее решить с Денисом; вот сейчас, немедленно собраться – и за ним, не откладывая ни минуты...

Аленка торопливо забежала по квартире, ей захотелось быть сегодня особенно красивой и молодой. Схватила одно платье, второе, постояла перед зеркалом, примериваясь, – и руки у нее вновь опустились: в глаза бросилось отекавшее, утратившее здоровые, естественные краски лицо, набрякшие веки, разладившаяся прическа, и она бессильно присела на небольшой диванчик. Так вот сломя голову тоже нельзя, сказала она себе, нужно хотя бы внешне привести себя в порядок, покрасить, что ли, волосы, съездить к своему мастеру. О каком тут душевном рав-

новесии может идти речь? Дети ведь очень чутки, тотчас чувствуют малейшую неуверенность, фальшь. Ничего не случится, если пойти за Денисом завтра, нужно хотя бы выспаться, если возможно...

Отыскав старенький ситцевый халатик, Аленка влезла в него и, вернувшись зачем-то в гостиную, едва не закричала: в углу на квадратной высокой подставке, задрапированной черным бархатом, ясно выделяясь, темнела погребальная урна с прахом мужа. Нервы расходились, успокаивая себя, сказала Аленка, поднимая руки к подбородку, галлюцинация, мираж, нужно хотя бы громко заговорить – и все исчезнет. Приказывая себе повернуться и выйти, она продолжала стоять, не в силах шевельнуться; необъяснимое, холодное чувство ужаса сковало ее; прошлое возвращалось, урна была такой же, как и в реальности – в день похорон, – и стояла точно так же, и точно так же Аленка знала, что в урне всего лишь горсть земли с места катастрофы, потому что самолет взорвался, врезавшись в склон горы, и от него буквально ничего не осталось... И, однако, перед ней сейчас прорезывалась на черном бархате урна Брюханова, это его хоронили; она, вопреки настойчивым советам, поступила по-своему, настояла ради детей ненадолго вернуть в дом память об отце; она хотела, чтобы – даже символически – он уходил в свой последний путь именно из родного дома... «Врачу, исцелися сам!» – сильно бледнея, приказала себе Аленка, и видение растаяло, исчезло; с трудом передвигая отяжелевшие ноги, оставляя везде за собой открытыми двери и включенный свет, она прошла к себе и легла. Нужно пересилить себя раз и навсегда, подумала она, у нее нет права на слабость, это отвратительно – сразу же опустилась, превратилась в старую, неряшливую бабу... И Брюханов то же самое ей сказал бы...

Зажмурившись от отвращения к себе, она затихла и, кажется, скоро задремала; звонок в дверь показался ей нереальным; звонок требовательно повторился, и она, помогая себе руками, поднялась, пошла открывать.

– Боже мой, вы? – озадачилась она, отступая от двери, увидев Шалентьева с темно-красными гвоздиками, подтянутого, сильно похудевшего, чисто выбритого.

– Простите... Я почему-то был уверен, что застаю вас дома... Здравствуйте, Елена Захаровна, – сказал Шалентьев, и она, стараясь не показывать своего недовольства, стянула ворот своего старенького ситцевого халатика, пригласила войти; неожиданный гость был старым знакомым, бывал при жизни Тихона и в доме, и на даче, не раз встречались на официальных приемах. Она вспомнила, что двумя годами раньше, до катастрофы и гибели Брюханова, Шалентьев похоронил свою жену, – и несколько смягчилась, хотя его появление сейчас представлялось ей чем-то лишним и ненужным, насильственно вырвавшим ее из привычного уже состояния апатии и безразличия: в ее горе ей никто не мог помочь, и справиться с собой, победить подступивший хаос она все равно могла только сама...

Не говоря ни слова, не предлагая садиться, она непонимающе смотрела на цветы, и Шалентьев терпеливо ждал, ничем не объясняя свой поступок и не оправдываясь; увидев до неузнаваемости переменившейся, пополневшее, неподвижное лицо Аленки, он понял, что поступил правильно, и не потому только, что их связывала общая утрата, что он был мужчиной и обязан был прийти сюда, в этот дом, с поддержкой и помощью, и давно думал об этом, но и потому, что прийти было необходимо лично, ему самому, И он видел сейчас не заношенный, ставший давно тесным халат (он знал, что у людей бывают любимые вещи, с ними трудно расстаются), не постаревшее лицо женщины, всего несколько недель назад уверенной в себе, царственно красивой и сильной, не седину, проступившую в ее неприбранных волосах; он видел сейчас ее страдание, ее безразличие к жизни, раз и навсегда, казалось, потушенный изнутри свет, выделявший ее в любом окружении, и еще раз подумал, что поступил правильно.

– Я не вовремя, я знаю... простите, – сказал Шалентьев. – Не сердитесь на меня, Елена Захаровна. Если вам уж очень неприятно, вы скажите, я и пойду.. Право, что ж делать...

Она небрежно сунула гвоздики в высокую запыленную вазу, не придав значения его словам, показавшимся ей ненужными, но она не могла не почувствовать его непридуманного сочувствия, прикрытого легкой, как бы извиняющейся улыбкой, и, по-прежнему не принимая общности своей и его беды, не желая впускать в свое горе постороннего человека, вежливо кивнула и, глядя мимо него отсутствующим взглядом совершенно машинально, по привычке предложила ему выпить чаю.

– Спасибо, не откажусь. Если вам это не в тягость, – неожиданно для нее, а еще больше для себя согласился Шалентьев, зная, что она ждет его вежливого отказа, и посмотрел ей прямо в глаза; и тогда впервые за последние недели к ней пробилось, казалось, недоступное более для нее живое чувство из навсегда ушедшего мира; она даже не захотела скрыть своего удивления и растерянности, стягивая ворот тесного халата.

– Пройдите в гостиную, Константин Кузьмич, извините, у меня не убрано. Сейчас заварю чай, – сказала она все так же безразлично, еще надеясь, что ее неожиданный гость поймет неуместность своей настойчивости, откланяется и уйдет, и, не сразу смиряясь, добавила: – Включайте, если хотите, телевизор, курите, Константин Кузьмич... Извините.

«Какой странный...» – подумала она, взглянув в его крепкий, коротко стриженный затылок, когда он проходил мимо нее из прихожей в гостиную, и затем, переодеваясь с зашторенными окнами, на ощупь, без зеркала (у себя в спальне она теперь не выносила яркого солнечного света и почти никогда не раздвигала штор на окнах), она двигалась скорее автоматически, по отработанной годами привычке при необходимости все делать быстро; неожиданно вспомнив крепкий, коротко стриженный затылок Шалентьева, она безразлично подумала о странных жизни и поправила чулок на ноге. Перед гостем она появилась в сером джерсовом платье, со стянутым узлом волос, в которых еще резче проступала седина, с несколько посветлевшими глазами и с замкнутым, по-прежнему холодным лицом. Так же машинально, безразлично она отметила про себя быстрый, одобряющий взгляд Шалентьева; он взял с подноса чашку, молча поблагодарил.

– Хотите есть? – буднично спросила она. – Правда, только холодное, ветчина, сыр... Водки выпьете?

– Ни того, ни другого, – отказался он. – Чай – прекрасно... Не обращайтесь на меня внимания, Елена Захаровна...

– Хорошо, – просто ответила она, и Шалентьев, отмечая безразличность ее тона и в то же время улавливая молчаливое согласие на его дальнейшее пребывание в ее доме, сел в кресле свободнее, откинулся на спинку; Аленка принесла сигареты и зажигалку, закурила, и они надолго замолчали, думая каждый о своем; вдруг нашла минута тишины и покоя.

– Я сегодня у Малоярцева был, у Бориса Андреевича... вызывали, – неожиданно сказал Шалентьев, и по его ровному бесстрастному голосу Аленка поняла, что его больше всего занимает сейчас именно его недавний разговор с Малоярцевым. – Одно дело быть третьим, четвертым или далее вторым, совсем другое – стать первым...

– Кто-то ведь должен быть и первым, – вслух подумала она, уже предвидя решение и внезапно жалея его. – Вы ведь хорошо знаете дело... Лучшей кандидатуры не найти.

– А вы, Елена Захаровна, знаете Малоярцева? – опросил Шалентьев, с напряженным ожиданием взглянув в лицо Аленки.

Она помедлила, погасила сигарету в пепельнице, с некоторой досадой и даже болью ощущая забытое чувство своей нужности, причастности к большой жизни и возвращения в круг привычных интересов и неосознанно сопротивляясь возвращению этого чувства.

– А-а-а... Я понимаю теперь —ваш приход, Константин Кузьмич, – больше для себя вслух подумала Аленка. – Не ждите от меня многого... Вы лучше меня знаете обстановку, людей... Малоярцев был и будет, это не от вас зависит, а следовательно, надо или работать именно с ним, или отказаться и уйти...

– Я не потому пришел, – горячо возразил Шалентьев, едва дождавшись, когда Аленка договорит. – Впрочем, не стану врать, – сразу же добавил Шалентьев, – не только потому, ведь ближе Тихона Ивановича у меня никого не было и нет. Я к вам не просто так зашел, вот огонь увидел во всех окнах и зашел. Нет, нет... Подумал, может, стены помогут, должно же от человека что-то остаться...

– Спасибо вам, Константин Кузьмич, – тихо поблагодарила Аленка. – Я и сама так думаю, часто с ним разговариваю... Конечно, он поможет вам принять верное решение... Он будет рад вашему решению, Константин Кузьмич, был бы рад, – уже тверже, увереннее произнесла она, чувствуя, как напряженно ждет и ловит гость каждое ее слово. – Знаете, Константин Кузьмич, выходите в первый ряд! Не ждите. В конце концов, если вы откажетесь, ваше место займет другой и, скорее всего, не имеющий таких неоспоримых прав, как вы. И быть может, менее порядочный... Тихону это было бы больно. Так будет лучше и для дела, и для вас...

– Вы думаете? – тихо переспросил Шалентьев, в то же время с облегчением чувствуя, что с его души сваливается саднящая тяжесть.

– Я уверена, – твердо сказала Аленка, еще больше светлея глазами и неожиданно, опять-таки больше неосознанно стараясь ободрить и поддержать, слегка улыбнулась; при всей внешней сдержанности Шалентьева, его значительности, умении держать себя, она безошибочно ощутила в нем внутренний сбой, неготовность принять решение, но она так же безошибочно знала, что жизнь требовала именно незамедлительного решения... Она сейчас как бы обрела дар провидения и точно знала, что необходимо делать ее гостю; она видела и свои прошлые ошибки и просчеты и даже в гибели мужа винила себя; будь она с ним рядом, он бы просто не мог погибнуть; бывает ведь и так, что минута решает все, и вся жизнь может быть опрокинута из-за какой-то одной минуты, а ей в нужный, самый критический момент не хватило решимости, она не захотела заставить себя бросить все свое и быть только с ним, жить только его жизнью...

Лицо Аленки, до этого какое-то расплывшееся, обрело твердость; резче выделились брови, серые глаза, обращенные как бы в себя, стали жестче, заискрились. В эту минуту между нею и Шалентьевым установилась и закрепились необходимая внутренняя связь, возникающая именно перед лицом страха жизни и оказывающаяся потом прочнее всякой другой связи. И Аленка, стараясь в самом зародыше подавить нелепую, безжалостную мысль об этом, означающую лишь бессмысленное и ненужное продолжение пути, новое страдание и новую возможность утраты, напряженно затихла, постаралась стать как можно меньше, и в лице ее, казалось, тоже прекратилась всякая жизнь. Шалентьев, занятый сейчас своим, ничего не заметил.



## 5

Уговорившись с отцом оставить внука до осени на кордоне, Аленка как-то сразу укрепила душой и повеселела; Захара же куда больше теперь занимала судьба Дениса, маленького, смышленного человечка, и он, не скрывая, ждал отъезда дочери; и в то же время при виде черной щегольской «Волги», подкатившей к кордону, он был неприятно удивлен. Сразу подтянувшись и помолодев, дочь познакомила его с человеком лет пятидесяти с лишним, примерно одного с ней роста, худощавым, с ежиком совершенно седых волос.

– Вот, отец, прошу любить и жаловать, Константин Кузьмич Шалентьев, – коротко представила мужа Аленка. – Мы хотели сразу вместе к тебе приехать, не получилось... Константин Кузьмич последнее время очень занят...

– Ладно, Елена Захаровна, мы как-нибудь сами разберемся, – ободряюще улыбнулся Шалентьев, адресуясь к мужской солидарности тестя, и в его приветливом лице при кажущейся мягкости словно бы проступила железинка; глаза оставались улыбочивыми и в то же время как бы слегка подернулись ледком; ожидая, по рассказам жены, встретить глубокого старика, он увидел хорошо сохранившегося, сухощавого, жилистого человека, несомненно, в солидных годах, но ему можно было дать и шестьдесят... Всмотревшись пристальней, Шалентьев понял причину. На продубленном загорелом лице лесника необычно молодо светились глаза пронзительной ясной голубизны, придавая лицу лесника постоянное выражение живого интереса ко всему происходящему. С первых минут своего пребывания на кордоне Шалентьев почувствовал отчетливое, как бы процеживающее внимание новоприобретенного тестя к каждому своему слову и, несмотря на весь свой опыт общения с людьми, никак не мог перехватить инициативу разговора. Несколько раз поймав на себе остерегающий взгляд жены, он вообще перешел на пустяки, впрочем, совершенно искренне восторгаясь красотой окружающего ландшафта, и тесть, приняв правила игры, облегчающие первые минуты и часы знакомства, согласно кивал и поддакивал; Шалентьев никак не ожидал встретить здесь, в немереной лесной глуши, такой редкий экземпляр – тесть не допускал высокомерно-снисходительного панибратства в отношении себя и сам не делал ни шага навстречу.

Разговаривая с зятем, лесник, в свою очередь, подумал, что новый муж дочери похож на затаившуюся рысь с холодными светлыми вертикальными зрачками, готовую бесшумно и мягко прыгнуть тебе на загривок, и, несколько смягчая свой приговор, вслух примиряюще сказал:

– Леса у нас хороши, со всех концов отдыхать едут... Только успевай гляди, на опушках-то одни кострищи... Дикий народ нынче пошел, после себя – хоть потоп. А у нас и рыбка в озерах водится... Что ж, хоть завтра провожу, не пожалеешь...

– Нет, Захар Тарасович, завтра никак не получится, а вообще-то при случае не откажусь, люблю, – сказал Шалентьев, опять остро глянув, не обидится ли тесть. – Понимаете ли, должен вас огорчить, Захар Тарасович, изменились обстоятельства – и нам с Еленой Захаровной необходимо быть как можно скорее в Москве. Надо сразу же и трогаться, чтобы вернуться засветло. Надеюсь, Захар Тарасович, вы нас простите... Придется тебе собираться, Елена Захаровна, – сказал он полущутливо-полуофициально, оборачиваясь к жене и разводя руками, показывая свое огорчение и в то же время извиняясь за невозможность поступить иначе, – но Аленка мгновенно почувствовала, что ни муж, ни отец не приняли друг друга, и, стараясь не усиливать неприязни между ними, ничего не стала расспрашивать.

– Я готова, Константин Кузьмич, – в тон мужу ответила она. – Жаль, конечно, всю жизнь спешишь, спешишь, когда только кончится эта гонка! Давай перекуси чего-нибудь, попей лесного молока...

– Ты же знаешь, я не пью молока, с детства желудок не принимает, – ответил он с веселым, бесовским блеском в глазах.

– Скажи, уже пообедал в Зежске, – засмеялась Алепка, еще пытаясь что-то подправить и изменить в добрую сторону. – Да, отец, а где же Денис? Надо же проститься... Денис! Денис! – позвала она, оглядываясь кругом.

– Мальчонка, видать, за Феклушей увязался, она вчера к Провалу собиралась, – вспомнил лесник и, увидев враз переменившееся, с опустившимися некрасивыми морщинами у рта, лицо Аленки, добавил мягче: – Ну чего душу тянуть... прощайся не прощайся, уезжать надо...

Сдержав слезы, Аленка ушла собрать вещи, а Захар с Шалентьевым присели на скамью под старым дубом; лесник вполне равнодушно отметил про себя, что зять даже не захотел, хотя бы для приличия, пойти в дом; Шалентьев неожиданно загрустил, заговорил о Денисе, пожалел, что не сможет увидеться с ним и попрощаться; лесник по-прежнему больше молчал, лишь что-то про себя буркнул, и его глаза слегка потеплели при виде вывернувшегося откуда-то Дика.

– Вы нас должны понять, Захар Тарасович, самое главное ведь понять, – заговорил Шалентьев. – Мы уже не молоды, и Елена Захаровна, и я, у нас другой ритм жизни... Я слышал от Тихона о вашей дружбе с ним. Сильный был человек, тянул немыслимый воз... Теперь же вот я впрягся.. Надеялись на передышку, хотя бы на недельный отдых, не получилось. Хорошо тут у вас, лес, деревья, закат, тихие мысли, покой... Вы не сердитесь, Захар Тарасович, на нас, не мы завели такой порядок в жизни.

– Я не обижаюсь, откуда ты взял? – сказал лесник. – Живите, мне что? Вы мне не мешаете...

За простыми словами тестя Шалентьеву неожиданно для него самого приоткрылся их иной, более глубокий смысл: старый лесник как бы ненароком напоминал зятю о том, что, сколько ни торопись и что о себе ни воображай, жизнь идет своими путями и ничему он, Шалентьев, не помешает, и что торопится он и не позволяет себе остановиться и задуматься лишь только из какого-то страха перед жизнью. И еще тесть, не сказав ни слова об этом, прямо и откровенно дал понять, что он, Шалентьев, ему совершенно не интересен и не нужен. «Потрясающе, – подумал Шалентьев, больше всего задетый именно этим невниманием и равнодушием к своей особе, с преувеличенным интересом рассматривая в то же время пестрых кур. – Черт знает что такое! Тут нервы натянуты до предела, измотался совсем с этим ожиданием... Наконец-то подписано назначение, и сейчас бы недельку в Форос на водные лыжи, вернуть себе форму, а тут тебе этот... волхв выступает, любимец богов, его тесть... собственной персоной. Черт знает что такое! И вижу-то его в первый раз и, вероятно, в последний... Зачем он мне и зачем мне о нем думать? Нет, в самом деле, без демагогии, все эти родники, фольклорные ансамбли, возрождение традиций, все это, конечно, прекрасно и необходимо, но к нему, Шалентьеву, а значит, и к Елене, не имеет прямого отношения. Каждому свое. Дай Бог в своей-то епархии как следует разобраться. А посему надо разумно расходовать силы. Что знает этот кудесник о нашей борьбе, о наших перегрузках? И вообще, что он знает, кроме своих делянок, охоты, пасеки, рыбной ловли, комбикорма? Что он может знать? Прочь, прочь отсюда, и впредь уговорить Елену побережнее обращаться с отпуском, дней в году много, а отпуск один...»

Усилием воли Шалентьев заставил себя не оборачиваться к леснику и смотрел теперь в глубину подступавшего к кордону леса.

– А что, Захар Тарасович, – сказал он с неподвижным лицом, – надо как-то приехать недельки на две, побродить не спеша с ружьишком, послушать тишину... Честно говоря, никогда не был в таком громадном лесу... Что, если когда-нибудь вырвусь и приеду, примете? А если еще и к озеру, с удочкой посидеть... Люблю.

– Приезжай, удочки найдутся, – коротко кивнул лесник и, увидев выводящую из дома Аленку с чемоданчиком, легко для своих лег поднялся. – Подожди, дочка, из отцовского дома нехорошо уезжать с пустыми руками, сейчас меду принесу... майского.

– Спасибо, отец, – опережая мужа, тоже вставшего ей навстречу, поблагодарила Алена, сдержав невольно подступившие непрощенные слезы, она глядела в сутуловатую спину отца, свыкаясь с непривычными, пронзительными мыслями о том, что видит его, вероятно, в последний раз и что она вот-вот останется старшей в роду; Шалентьев что-то сказал ей, но Аленка не поняла, и, когда вернулся отец, она, взяв тяжелую банку с загустевшим медом из рук, прижалась к нему, быстро оторвалась и, пряча лицо, пошла к машине. Захар не стал ее удерживать, ничего не сказал, лишь про себя вздохнул и пожелал счастливой дороги.

– Дениса, Дениса береги, отец, – попросила Аленка, приоткрыв дверцу и взглянув напоследок; затем машина тронулась, и Аленка, не скрываясь, дала волю слезам, не обращая внимания на мужа. Отъехав от кордона подальше, Шалентьев остановился и, обернувшись назад, глядя на ее припухшие тяжелые веки в верхнее зеркальце, ободряюще улыбнулся:

– Ну, Елена свет Захаровна, немного успокоилась? Что ж ты ее так обнимаешь, как сестру родную? Давай в багажник определим... будет надежнее... А то еще, не дай Бог, разобьется, пропадем ведь без лесного меда... обивку придется менять... Перестань, лучше взгляни, чудо ведь кругом, – предложил он, указывая на старый горбатый мостик через ручей и на цветущее разнотравье луга, раздвинувшего в этом месте лес. – Давай свою банку, не всю же дорогу в руках ее держать...

– Оставь, – отстраняюще отодвинулась Аленка. – Устроил спектакль... Не замечала за тобой склонности к мистификациям...

– О чем ты? Спектакль? Какие мистификации?

– Мы отлично могли бы переночевать у отца. И уж в крайнем случае пообедать... В дом даже не зашел...

– Ты же не знаешь всего...

– Знаю... тебе звонили, поставили в известность... Назначение подписано... Ну и что из этого?

– Мы взрослые люди, Елена, я не могу притворяться. И никогда не умел, – примиряюще улыбнулся Шалентьев; ему не хотелось расставаться с хорошим настроением и вступать с женой в пререкания; именно сейчас, на гребне большого успеха и победы, ему больше всего хотелось мира и согласия. – Потом когда-нибудь, если позволят обстоятельства, сойдемся ближе с твоим отцом... Поверь, не мог, действительно не мог, – убеждал он ее, и чем убедительнее звучал его голос, том вернее чувствовалась фальшь его слов. Да он и не считал для себя нужным притворяться, он был рад, что они наконец одни, что этот неразговорчивый хмурый старик, ее отец, уже отошел в прошлое и можно наконец сосредоточиться на каких-то нужных вещах или просто помолчать вместе. К нему вернулось энергичное, собранное настроение, которое он в себе любил, и даже отчужденное молчание жены сейчас не мешало ему.

– Лена, ты ведь знаешь, в каком диком напряжении я был все время. А сейчас? Разве будет легче? Я понимаю, отец есть отец, я уважаю твое чувство. Только ради чего же я должен ломать себя и играть комедию? Ни мне, ни тем более ему это не нужно. Твой отец все понял как должно. Не в пример своей дочери...

Лицо у Аленки дрогнуло.

– О-о, Константин Кузьмич, как ты ошибаешься, – сказала она, слегка растягивая слова; слезы ее совсем высохли, и она сейчас была такая, какую ее знал и любил Шалентьев; она как-то незаметно успела обмахнуть лицо пуховкой и стянуть растрепавшиеся волосы в тяжелый узел, отчего ярче проступили черты ее зрелой строгой красоты.

– Это почему же?

– Слепому душой на твоей высоте нечего делать... Там ведь не только интегралы, сталь, электроника, там, как и везде, между прочим, игра амбиций и самолюбий, везде люди, свои Захары Тарасовичи... Я бы не стала относиться к ним с таким подчеркнутым презрением. На них ведь все держится, не на нас с тобой, не заблуждайся.

– По-моему, мы в последнее время слишком много говорим о нуждах и потребностях, – жестко сказал Шалентьев. – А ведь еще нужно уметь заставить людей работать... просто работать. Кстати, мы сейчас вообще говорим не о том. Надо наконец определиться. Переезжаешь ты ко мне или опять неопределенность? Смешно, взрослые люди...

– Конечно, перебираюсь я к тебе, и за мной неотступно следует взгляд Конкордии Арсентьевны, твоей матери. Вот уж всю жизнь мечтала о такой опеке.

– Ну-ну, не так горячо, утрясется, – отозвался не вдруг Шалентьев, – Кстати, отцовскую квартиру хорошо бы сохранить за Петром. Помотается-помотается, а там ему захочется обрести свое жизненное пространство. А у матери, ты ведь знаешь, – есть своя отдельная жилая площадь. И я, не в пример некоторым нерешительным особам, могу ей об этом напомнить... Кстати, ты могла бы и меня понять, необходимо переждать, все перемелется... Мать все время запугивает меня своей близкой смертью...

– Ты завел разговор не ко времени, – не приняла его тона Аленка. – Прошу тебя, не надо сейчас...

Согласно кивнув, Шалентьев включил скорость; машина тихонько, словно пробуя колесами шаткие бревна настила, взобралась на горбатый мостик, осторожно перевалила через него; Шалентьев сразу же прибавил скорость, и до самого Зежска они не разговаривали, каждый думал о своем, лишь на старой, вымощенной булыжником еще при Иване Грозном Зежской площади между ними опять произошла короткая размолвка, на этот раз из-за сущего пустяка – из-за газированной воды. В ответ на слова мужа о дурном качестве воды Аленка с видимым удовольствием выпила два стакана и, приведя пожилую усталую киоскершу в замешательство, даже сердечно поблагодарила ее. Дальше машина вновь мягко шла по широкой, удобной автостраде, а они сидели напряженные, враждебные, без малейшей попытки к сближению, к примирению, и Аленка впервые за время их недолгой совместной жизни чувствовала непреодолимое желание освободиться из-под влияния сидевшего впереди нее сильного, жестокого человека и думала о том, как трудно в их возрасте привыкать друг к другу, в то же время пытаюсь пересилить себя, свое дурное настроение и не дать разрастись ненужной и глупой размолвке. Именно в это время Шалентьев, как это с ним случалось в минуты душевного напряжения, вначале ушел в себя, помрачнел, затем с несвойственной ему прямолинейностью заявил о своем недоумении и несогласии оставлять мальчишку на кордоне, пусть даже на самый короткий срок; с неожиданной горечью он вспомнил свое бесприютное детство, тяжелый, нестираемый след в душе, обиду, которую он так и не простил матери...

Откинувшись на спинку сиденья, Аленка прикрыла глаза, притворяясь задремавшей; нагревшаяся в ее ладони банка с медом успокаивала, и она не хотела расставаться с нею. «Старею, – подумала она безразлично. – Что мы все-таки нашли друг в друге и нужно ли нам быть вместе? Или все случилось от бездушия и эгоизма детей? Оба мы одинаково боимся одиночества, старости и после гибели Тихона схватились друг за друга как за спасение, и это самое простое и логичное объяснение. Он-то, он что во мне нашел? Сильный человек, обаятельный, когда хочет; любит борьбу, власть, много добился и еще большего добьется. Мог бы найти лучше, моложе, сейчас именно таким, как он, девчонки на шею вешаются...»

Подавив желание взглянуть на себя в зеркало, Аленка рассердилась: слишком мало еще прошло времени с тех пор, как они с Шалентьевым вместе, все еще может измениться, и нечего заниматься самоедством, тем более что в самой себе она копать не любила. И конечно же, прав Костя – отец умен, самое главное он прекрасно понял, все увидел своими глазами; и ей сейчас плохо и стыдно больше всего именно перед ним.

\* \* \*

Проводив дочь с мужем, Захар и в самом деле недолго думал о них; Шалентьев ему не понравился, и не только не понравился, но и рассмешил своей какой-то ненатуральной сверхзабоченностью и деловитостью; лесник отвык от подобных людей, считающих себя единственно необходимыми для жизни, вокруг которых должно крутиться все остальное. При встрече с зятем в душе у него сработал некий защитный механизм, и Шалентьев попал на ту самую полку, куда старый лесник помещал подобных ему людей, помещал, чтобы сразу же о них забыть и больше ими не интересоваться, словно их никогда по было; в душе, не прерываясь, продолжалась своя, важная нужная для него работа, он разговаривал, отвечал на вопросы зятя, даже улыбался, но Шалентьев для него уже как бы не существовал.

Едва шум мотора красивой, щегольской, как будто только что сошедшей с конвейера, с лаковым отливом, машины, лишней и ненужной здесь, в спокойной зелени леса, затих, лесник отправился к навесу, с напиленными к зиме дровами и принялся их колоть: хочешь не хочешь, лето кончится, придут холода, в жизни свой определенный порядок и его нельзя отменить. Егор вызывался на той неделе помочь. Может, и зря отказался, лето, мол, еще долгое, сам справится...

Раздумывая таким образом, он ничего по вечной хозяйской привычке из происходящего вокруг не упускал – ни появившегося невесть откуда, вертевшегося поодаль Дениса, ни Дика, посматривающего на зависшего над кордоном ястреба, ни кур, бегущих в укрытие; одной рукой придерживая, другой взмахивая топором, лесник привычным движением раскалывал чурбак за чурбаком; работа его успокаивала, проясняла голову, и за работой незаметно проскочило часа два. Разогнувшись, придерживаясь за ноющую поясницу, он, привычно воткнув топор в старую колоду, присел сам.

– Ну что смотришь, иди подсаживайся, – сказал он, искоса присматриваясь к Денису, определяя, какой породы в нем больше, и вспоминая Брюханова, его неожиданную, жуткую смерть где-то в немереных высотах над Сибирью. – Вот так-то, брат, – добавил лесник неопределенно поглаживая доверчиво пристроившегося рядом мальчика по голове. – Сначала нас пускают на белый свет, потом выкидывают вон, гребь себе как можешь, потонешь – туда и дорога...

Внимательно и сосредоточенно выслушав, Денис поднял на лесника серые, с золотистым отливом, глаза.

– Ты тоже меня бросишь, дедушка? – спросил он, не меняя позы, и лесник, с трудом преодолев желание схватить мальчика на руки, прижать к себе, натужно прокашлялся: что-то в самом деле перехватило ему горло.

– Мелешь всякую чепуху, Денис, – сердито хмурясь, сказал он. – Я вовсе не про тебя, я совсем про другое подумал... Никто тебя не бросил и не собирается бросать.

– Меня Валька Тешкин дразнил, – все тем же ровным, ничего не выражающим голосом сказал мальчик. – Ты, говорит, никому не нужен, давай, говорит, убежим с тобой в Индию, в джунгли...

– Какой еще Валька? – потерянно спросил лесник.

– У нас во дворе с бабушкой живет. У него отец с матерью за границей работают. В Индии завод строят.

– А-а, черт бы их всех побрал! – не выдержал лесник, выдернул топор из колоды и поднялся. – Знаешь, люди от безделья бесятся, ты знаешь, ты того... не верь своему Вальке... Мало ли кому что в башку втемяшится... Слышь, у нас в лесу зима долгая, холодно... волки бегают, знаешь, сколько дров надо? Ты мне помогай, я колоть буду, а ты по полешку бери, вон под навес складывай... а?

– Нет, что ты, дедушка! – сказал Денис. – Лучше давай позовем сторожа или вахтера, или еще кого-нибудь. Давай с тобой лучше конструктор соберем... есть катер-самоход на батарейках... Бабушка мне целый чемодан оставила.

Неторопливо поставив очередной чурбак торцом, лесник с резким придыханием расколол его, отбросил в сторону, поставил следующий.

– Ты можешь сидеть, – не прерывая работы, сказал он, – а я не хочу зимой мерзнуть, у меня кости старые, тепло любят... Я-то думал, мне помощника Бог послал и сам черт нам теперь не брат, а ты вон что... Слышь, вахтеров нам нанимать не на что, им голый шиш не покажешь, им денежки выкладывай. Я сам восемьдесят рублей получаю. У нас с тобой руки-ноги имеются, на что они? Ты как хочешь, а я уж по-своему...

Не обращая больше никакого внимания на притихшего мальчика, лесник снова не спеша принялся за дело; помедлив, Денис посопел, затем подошел к вороху наколотых дров и, нерешительно взяв сухое желтоватое березовое полено, понес его под навес. Сделав вид, что ничего не заметил, лесник еще шибче принялся махать топором, хотя ему давно пора было передохнуть, поясница ныла – и во рту пересохло. Денис таскал дрова все азартнее, пыхтел, стараясь взять теперь три-четыре полена сразу, и, кое-как затолкав их на место, тотчас мчался обратно.

– А я тебя перегоню, дедушка, – неожиданно заявил он Захару, и тот, обрадовавшись передышке, выпрямился. – Я все теперь перетаскаю...

– Перетаскаешь и перегонишь, – согласился лесник, молодо светлея глазами. – Отчего не перегнать, ты же вон какой молодой, сильный, а я свое оттопал.

– Ты, дедушка, не останавливайся! – потребовал разохотившийся, раскрасневшийся от быстрой работы мальчик. – Давай честно, кто кою перегонит...

– Ну вот. сам себе заботу схлопотал, – проворчал лесник и, сдерживая руку, с удовольствием принялся за дело; характер правнука пришелся ему по душе, и они, старый да малый, старались еще часа три; наконец, отдуваясь, лесник опустил на колоду.

– Уморил ты меня, Денис, – сказал он. – Кончай, пора умыться да обедать. Где ты там? Иди сюда...

Оборвав на полуслове, он встревоженно шагнул к мальчику, державшему перед собой правую руку ладонью вверх, с торчавшей в ней глубоко ушедшей большой занозой.

– Вот те на, – сказал лесник, присев. – А ну-ка терпи... Вот мы ее сейчас... Ра-аз!

Пошла кровь и вмиг залила маленькую, перепачканную в земле ладошку; сильно побледнев, поджав губы, мальчик неотрывно глядел на нее.

– Ничего-ничего, не бойся, пусть промоет, – сказал лесник. – Та-ак, молодец парень... а теперь зажми ладошку-то крепче в кулак... мы сейчас ранку прижжем... пощиплет немного... Ты не бойся...

– А я и не боюсь, – ответил мальчик.

– Вижу, – с уважением сказал лесник, подхватил отбивавшегося правнука на руки и направился к дому; Денис, устав от воздуха и движения, прижался к деду и скоро заснул, а лесник, выйдя после обеда на крыльцо посидеть и подумать, не сразу увидел Фому Куделина, иногда приезжавшего к нему на кордон из Густыц выпросить то дровишек, то сена, а то просто так – от тоски и непонимания жизни. И на этот раз Фома завернул на кордон от беспокойства; привязав лошадь к изгороди, стоя у ворот, он долго пытался усовестить Дика, внимательно и настороженно слушавшего Фому, но решительно преградившего ему дорогу к дому: едва Фома пытался приоткрыть решетчатые ворота, шерсть у Дика на загривке становилась пышнее и во всей его поджарой, могучей фигуре намечалась как бы готовность движения – и все это в совершеннейшем мертвом молчании.

– У-у, зверюга лесная! – ругнулся Фома, вытягивая из-за изгороди худую морщинистую шею. – Ты что ж вытворяешь? Ежели ты собака и хозяина стережешь, подай голос, чтоб хозяин

тебя услышал... Природа! А так что в немоте караулишь? Черт веревкин, глаза-то какие ярые, вроде он уже горло тебе перекусил, кровушки напился! У-у, зверюга! Природа!

Еще подождав и посмеявшись, лесник окликнул Дика, и вскоре, поздоровавшись, они сидели с Фомой на скамейке под дубом и Фома выкладывал деревенские новости, а Дик, положив острую морду на лапы, внимательно и неотступно следил за шумным гостем, мешая ему разойтись по-настоящему. Время от времени Фома замолкал, ожесточенно тербил свою куцую, сбивавшуюся вправо бородашку и сердито косился в сторону пса. Стоял предвечерний безветренный зной; листва на деревьях ослабла, и даже жесткие листья дуба слегка обвисли. На лице у Фомы выступила испарина; самые важные повости – про сгоревшего на прошлой неделе, в сорок семь лет, от самогонки старшего сына Микиты Бобка и об одном из беспутных парней, три дня назад арестованном за пьяную драку и увезенном в город – уже были рассказаны; и дело, ради которого Фома приехал на кордон по просьбе зятя Кешки Алдонова (узнать, где можно будет рубить на зиму дрова), тоже было уже решено. Оставалось напиться студеной вкусной колодезной водички на дорогу и распрощаться; он уже открыл было рот, но так ничего и не произнес, у него лишь глаза тревожно округлились, словно он увидел перед собой нечто диковинное, из ряда вон...

– Захар, а Захар, – сказал он, вытирая взмокший лоб рукавом, – а ты ничего не слыхивал?

Лесник молча смотрел на него, ожидая, и Фома заволновался сильнее.

– Траншеей копают из самого Холмска в Зежск, а там еще дальше, туда! – неопределенно махнул рукою Фома, вытирая лоб рукавом. – Уже мимо Густищ, мимо Соловьиного лога прострочили. Я сам ходил глядеть, вот стала жизнь, Захар! – потряс бородашкой Фома. – Идет себе машина огромная, а за ней канава получается... хоть какие коренья рвет, камни вон выкидывает... а? Природа! Говорят, газ пойдет, и никаких тебе дров и торфа! Как так, Захар? Жили-жили, и деды жили, и прадеды жили и ничего не знали? Какой такой газ? Видать, опять жульничество... Природа! Где ты на весь мир эвонного газу наберешься?

– Занесло тебя, Фома, опять в тартарары. Ну что ты можешь знать на курином своем нашесте? – посмеиваясь, спросил лесник. – Вот народ, вместо радости черт знает что напридумают...

– Ладно тебе, Захар, ты сам кто таков будешь? – обиделся Фома. – Я на курином нашесте, а ты на каковском? Может, ты и правду говоришь, все ближе к начальству, – тотчас вильнул Фома в некий, показавшийся ему подходящим, закоулок; он вспомнил, зачем приехал на кордон, и решил, что себе в убыток огород городить не стоит. – Ты мне скажи, Захар, в наши-то Густищи этот самый газ проведут?

– Само собой проведут. Мимо прут, как же не провести?

– А вот и не будет этого! – твердо подвел черту Фома, весь подобравшись; у него даже голос переменялся, зазвенел и глаза заблестели. – Природа!

– Опять ты за свое...

– Не проведут! – упрямо повторил Фома. – Потому как этот газ, народ говорит, напрямиком в Турцию тянут, а на русского человека начальству наплевать! Испокон веков так было, потому как все начальство у нас подряд непутевое! Природа!

– Зачем в Турцию-то? – озадачился лесник.

Фома больше подсох лицом, и во взгляде его появилось стариковское нерассуждающее упрямство.

– Зачем, зачем! – с досадой отмахнулся Фома. – Ткнули пальцем в небо и копают себе. Потому – в Турцию... Надо же куда-то его тянуть, этот газ. Лишь бы только не своим, мне один знающий человек словечко такое сказал. Уж он знает! Природа! А ты слыхал, откуда его берут, газ-то этот?

– Из земли, поди, – миролюбиво предположил лесник, и Фома утвердительно потряс в воздухе корявым пальцем.

– То-то! – сказал он. – Из земли! Там, в земле-то, потом пустота во все концы разрастается! Природа! Государство русское затем туда и рухнет, ничего не останется... Народ говорит, а народ знает... Природа!

– Ты, Фома, вроде еще лет двести жить собираешься, – скупое усмехнулся Захар, вызывая явное неодобрение своего беспокойного гостя. – Колготишься-колготишься, старый хрен, а зачем? Тебе-то что?

– Слова твои, Захар, босяцкие, – не остался в долгу Фома, и от возмущения его контуженую ноздрю заметно потянуло вправо; он сморщился, пронзительно чихнул, и лесник, забывший об этой особенности своего гостя, вздрогнул. – Вот видишь, моя правда, – продолжал Фома. – Совсем ты в своей глухомани одичал... Вот помру – и заботам конец, а пока живой... как по-другому?

На этом деловая часть их разговора оборвалась; Фома понес уж совершеннейшую чепуху, вначале вспомнил о Варечке Черной, отправившейся в лес поискать первых грибов и столкнувшейся там нос к носу с самим *хозяином* и тот вроде бы опустил свои тяжеленные лапищи ей на плечи, раскрыл жаркую пасть,дохнул на нее синим огнем и сказал: «Ложись, баба!»; и что после этого и рухнула она в темень, и ничего более не помнит. А когда очнулась, то никого не увидела, лишь земля кругом была вся изрыта, и даже кусты с корнями повыдраны, и что Варечка Черная божится и крестится, что подломил ее в глухом нечистом месте не *хозяин*, а сам Захар-Кобылятник.

От неожиданности лесник покрутил головой, с некоторой долей удивления буркнул в адрес Варечки Черной что-то не совсем пристойное, что-то о голодной куме, а затем Фома стал вспоминать довоенное время, Захара в председателях, свое насильственное переселение с хутора в Густищи и оттого загубленную во цвете лет молодую жизнь, лесник слушал, поддакивал; к вечеру жара спадала и в лесу становилось оживленнее и веселее.



## 6

У Пети с университетских времен сохранялся постоянный круг знакомств; кто-то, разумеется, женился или выходил замуж, кто-то уезжал в другой город, с головой уходил в науку, в работу и отпадал от их университетской команды, но атмосфера студенческих лет, студенческого братства, споров, взаимовыручки, желания внести в жизнь оглушительно новое, свое, нащупать еще одну ступень к совершенству сохранялась, и Петя дорожил ею. Бывая в Москве теперь лишь наездами и нерегулярно, он все-таки старался не пропускать редких вечеров, обычно по субботам, когда собирались его университетские однокашники. Он звонил, узнавал и обязательно приходил. С последнего курса Петя окончательно положил себе правилом жить только на свои деньги, не брать ничего у отца с матерью; над ним посмеивались, говорили, что его психология совершенно нетипична, что он просто опоздал родиться и ему в самый раз жить в годы первых пятилеток; особенно донимал его один из самых его близких друзей, Сашка Лукаш, человек яркий, напористый, энергичный, умевший при всякой погоде остаться на гребне успеха, как-то незаметно, между делом, неожиданно для всех защитивший кандидатскую. В обществе наконец-то разгорелась жажда ощутить подлинные корни исторического прошлого русского народа, и мешать этому и дальше становилось опасным; Лукаш безошибочно уловил момент и, удивив всех своих друзей и родных, в очень короткий срок написал работу о денежно-товарных отношениях в Киевской Руси, замеченную и легшую в основу его кандидатской. У Пети с Лукашом со студенческих лет не угасало соперничество; в свое время они активно боролись за лидерство на курсе, и тогда Петя легко одерживал верх, но в последние годы главенствующее положение перехватил Лукаш; легкость успеха теперь прочно перешла к нему, ему все давалось, казалось, совершенно без усилий, и это Петю тайно ранило; себя он начинал считать бесталанным, невезучим человеком, каким-то непонятным образом оказывающимся на обочине жизни. То, что давалось Сашке Лукашу словно шутя, ему приходилось вымучивать, и даже в отношениях с женщинами. У Лукаша, казалось бы, неразрешимое разрешалось свободно, безболезненно, с какой-то веселой легкостью; у Пети уже первая любовь обернулась чуть ли не трагически. В понятном стремлении к самостоятельности, в желании иметь хотя бы небольшие свободные деньги Петя, чтобы не кланяться матери и особенно отчиму, иногда читал лекции на социологические темы в обществе «Знание», пробовал писать статьи (социология только-только входила в моду); Лукаш тотчас накрыл его своей новой работой, вторжением в самую жгучую современность, с анализом влияния экономического фактора материальной заинтересованности на производительность труда на двух ведущих автомобилестроительных заводах страны – в Горьком и в Москве. Так иногда случается в жизни, что два человека, оказываясь рядом, результатами своих усилий, сами того не желая, начинают мешать друг другу и даже взаимно уничтожать один другого; неожиданный, всех удививший отъезд Пети сначала в Томск, а затем в Хабаровск, скорее похожий на бегство, многое переменял в их отношениях. Наведываясь теперь время от времени в Москву, Петя становился крепче, свободнее в суждениях и поступках, гораздо меньше зависел от прежней своей институтской компании, проявляя ко всем, включая и Лукаша, ровное, устойчивое заинтересованное дружелюбие, не выделяя никого и никого не обходя вниманием. Лукаш, в свою очередь, ревниво переживая эту перемену, старался не пропускать даже мимолетных встреч с Петей; подвыпив, Петя становился размашистее, угловатее, щедро, без утайки выворачивал все, что у него было за душой, и порой даже какая-то одна его мысль, выношенная в тишине, в удалении от столиц, позволяла Лукашу держаться на плаву и слыть в своей среде думающим, оригинально мыслящим человеком. Петя со своей стороны тоже узнавал от Лукаша много столичных новостей; оба они еще пока не уступали друг другу первенства и только одного никак не мог выяснить Лукаш: какие планы были у Пети на будущее.

Возвратившись в Москву из поездки на кордон к деду, Петя несколько дней провел взаперти, не отвечая на телефонные звонки и почти не выходя из дому. Он не мог забыть мертвой деревни и встреченных там стариков, нечаянно приоткрывших ему незнакомую сторону бытия; он и раньше знал, что была война, что любая война оставляет после себя безобразные рубцы, в том числе вот такие, как эта мертвая деревня Русеевка в глубине жежских лесов, но одно дело знать войну по рассказам, по книгам и фильмам, и другое – столкнуться самому с ее тяжким проявлением через тридцать с лишним лет и ощутить на себе ее мертвящее дыхание. У Пети не шла из головы старуха Фетинья с ее судьбой, ее глаза, ее голос, ее уверенность в необходимости и целительной силе самой смерти...

Приведя несколько свою душу в порядок, он много просиживал за столом, упорядочивая уже написанное и собирая разбросанные там и сям мысли и положения начатой перед отъездом статьи. На неожиданный звонок в дверь он думал было сначала не отзываться, но Лукаш, невысокий, плотный, с открытой заразительной улыбкой, уже шагнул через порог, уже шел к нему, широко раскрыв объятия, словно опасаясь, что хозяин вот-вот улизнет, как его ни удерживай.

– Наконец-то! Попался, бродяга! Почему дверь не закрыта, ты думаешь, здесь тебе тайга? Значит, Елена Захаровна права, хорошо хоть меня стукнуло ей позвонить. Ну, здравствуй, Брюханов! – начал Лукаш оживленно, и в его небольших серых глазах словно что-то захлопнулось. – Да что ты такой кислый? Что, не понравилось в российской глубинке у деда? Ты когда вернулся? Почему не звонишь? – заключил он на высокой и даже несколько неестественной ноте.

Он потряс руку Пете, бросился в кресло; крепкий, в меру румяный, он всем своим существом выражал радость и довольство жизнью, но Петя знал, что Лукаш зря своего времени не тратит и просто так не приходит, и, не присаживаясь, ходил по комнате, слушая и изредка поглядывая на нежданного гостя, оживленно рассказывающего о последних московских новостях, связанных с их общими знакомыми. В ответ он сдержанно кивал; неожиданно обернувшись, он поймал в лице Лукаша какое-то новое, незнакомое, какое-то вбирающее выражение, но тот, мгновенно справившись с собой, знакомо улыбнулся, и Петя, пряча глаза, смутился.

– Нет, определенно, у тебя, я вижу, настроение оставляет желать лучшего, – безапелляционно подвел черту гость. – Уж часом не влюбился ли ты? Молчишь? Я тебе телефон оборвал, по несколько раз в день звоню. Перспективнейшее дело наклеивается! Погоди, погоди, ты пока не выступай, ты слушай. Я хотел тебе написать, не успел. Месяц назад в журнале «Вестник экономики» сменился главный редактор... Нет-нет, подожди, ты знаешь, кто пришел? Хороший мой знакомый – Вергасов Павел Тимофеевич, имя известнее, доктор, у него очень приличный учебник по философии. Он предложил мне войти в редколлегия и возглавить отдел социологических исследований. Ты ведь до этого... до филиала Обухова, работал на заводе социологом... Ты же хорошо пишешь, старик! Я, разумеется, тотчас вспомнил о тебе, не хмурься, подумай. Я же знаю твои возможности, почему бы тебе тоже не нацелиться на какой-нибудь из отделов? Получишь реальную независимость и даже больше того – власть... Отдел для тебя – это только начало. Я уверен, надо брать дело в свои руки, да и Вергасов сразу же сделал ставку на молодых, он прямо заявил: мне нужны молодые мозги, способные к поиску и эксперименту, пусть даже к риску... Что же ты молчишь?

– Я слушаю...

– Вергасов хорошо знал твоего отца, – сказал Лукаш со значением в голосе, вскочив с кресла. – Связи везде необходимы, особенно в новом деле. Шеф, как только услышал твою фамилию, заметно взбодрился... В самом деле, что с тобой, Петр... Петр Тихонович? Ты как будто недоволен, а ведь такая карта выпадает не часто... Слушай, у тебя там в холодильнике ничего нет?

– Взгляни сам... кажется, оставалось

– Не очень-то ты любезен, – проворчал Лукаш, заглядывая в холодильник и разочарованно присвистывая. – Тебе, пожалуй, приснилось, здесь шаром покати, ничего, кроме минералки!

– Значит, ничего и не было, – отозвался Петя равнодушно, настраивая радиоприемник; Лукаш, искоса поглядывая в его сторону, открыл минеральную воду, выпил, поморщился и, повозившись, опять, казалось надолго, устроился в кресло, ожидая развития событий. Петя спиной чувствовал его оценивающий взгляд и думал о том, что людей приходится принимать такими, какие они есть, и с этим ничего не поделаешь. И Лукаша никто не переделает: всегда стремится опередить события, всегда куда то рвется, старается захватить побольше пространства вокруг; что ж, если рассуждать спокойно, это здоровое стремление, тем более что вокруг все предельно обветшало, никакого свежего движения, никакого смелого порыва. Все застыло, обвело в ожидании окончательного распада, любая ищущая мысль тотчас отвергается, и, естественно, такие активные натуры, как Сашка Лукаш, ищут выхода, разрешения. У него острое, практическое направление ума, пусть предельно суженное, зато проникающее, действенное, и никто ведь не виноват, что в нем самом, в Петре Тихоновиче Брюханове, как его уже начинают называть все чаще и чаще, угнездилась какая-то трещина и все в мире ему кажется неверно устроенным... Может быть, прав Лукаш – что, в самом деле, толку думать о мировых скорбях, о вечном несовершенстве человека? Присутствие в мире людей, подобных Лукашу, безусловно оправдано – хотя бы потому, что они знают, чего хотят, и, самое главное, знают, как быстрее достигнуть своей цели; биологически они всегда правы, им, разумеется, и во сне не может пригрезиться, что они не нужны на этом свете, что вот-вот им на смену появится некто, имеющий право сказать: пора, уходите, ваше время кончилось, большие и нужные дела вы превратили в постыдный фарс, все подчинили служению своим низменным инстинктам...

Представив себе изумление Лукаша, услышавшего о себе такое суждение, Петя усмехнулся и выключил приемник.

– Твое предложение мне не подходит, не ко времени. Я пытаюсь хоть что-нибудь понять в происходящем. Сидя в Москве, этого не сделаешь, это город тысяч физиономий, город-лицемер...

– Ну вот, теперь тебе Москва не угодила! – Глаза Лукаша сузились. – Твои первые статьи замечены именно здесь, не в Томске, не в Хабаровске, а именно здесь! Вызвали споры, полемику именно здесь... в первопрестольной. Москва ему нехороша! Другому успех достается каторжным трудом, когда жизнь уже истреплет его... Конечно же, ты из отмеченных, ты не будешь всю жизнь тупо, покорно, упершись в землю лбом, тянуть ярмо. Вергасов – вот такой мужик, он следит за тобой, знает твои работы, едва услышал о тебе, сразу заявил, что ты журналу будешь полезен как некая возбуждательная... он сказал – провоцирующая субстанция... Представляешь?

Петя не представлял.

– Ну и глупо! – отвел светлые, почти невидимые брови Лукаш. – Слушай, Брюхан, не строй из себя шибко принципиального, ладно? Все ты прекрасно понимаешь! При таком отношении главного к тебе и режим будет щадящий, и свободного времени хоть отбавляй, любые командировки: в за рубеж, и по нашей обширнейшей отчизне. Ну что ты высидишь там, в краю первопроходцев, декабристов и каторжников?

– Понимаю, требуются мои мозги, – сказал Петя. – В полное, безраздельное пользование и владение? И за это мне будут пожалованы повышенные жизненные блага и льготы... Так, что ли?

– Ты сегодня не в своей тарелке, старик, – огорчился Лукаш, пружинисто, одним рывком вскакивая. – Пошел, а то мы разругаемся. С твоей-то головой сидеть на периферии... Не обрубай окончательно, в конце концов подержим ставку, пока у тебя мозги улягутся на место. А пока будешь писать для нас в любом объеме...

– Ну хорошо, хорошо, я подумаю. – Петя легко, без заметного усилия вдавил Лукаша назад в кресло; тот охнул, подломился и сел. – Я подумаю, – повторил Петя. – Я только одного, Сань, не понимаю, зачем? Ты вот решил исправить мир с помощью своего журнала и веришь в конечный результат. Молодец. Я же твердо и бесповоротно убежден: человека нельзя ни исправить, ни улучшить, он таков, каким его запрограммировала природа, и здесь любой социальный строй бессилён. Издержки материи.

– Не-е-ет, это ты брось, Брюханов, знаю твою теорию, сейчас про кроманьонцев своих заведешь. Ты меня не собьешь, Брюханов. Я – марксист!

– Знаю, знаю, ты – марксист-демагог, вас тьма-тьмушая расплодилась на всех этажах. Только ведь вы вашей деятельностью человека все равно не улучшите, не-ет!

Лукаш точно не слышал слов Пети, спор этот между ними был застарелый, давний, в ответ он еще раз напомнил просьбу Вергасова прийти завтра в любое удобное для Пети время познакомиться.

– Ты пойми, Сань, у меня уже день расписан, билет на самолет в кармане, мне еще надо тысячу дел переделать, целый список поручений, половину мать на себя взяла – хорошо хоть ее симпозиум перенесли, а то бы пришлось одному вертеться. Надо к ней забежать... еще кое с кем повидаться, – отбивался Петя, начиная в ответ на настойчивость гостя утрачивать свое благодушие. – Нет, ну просто нет времени, в другой раз давай, а?

– Другого раза может не быть! – не сдавался Лукаш. – Сдай билет, на день, на два отложи вылет...

– Нельзя, опоздаю в экспедицию, Обухов просил меня быть к сроку, а я, понимаешь, уважаю этого человека, – сказал Петя. – Ну извинись перед Вергасовым, ну объясни! Если у меня что-то напишется, выстроится – есть кое-какие соображения, – обязательно пришлю... Еще хотел к деду на кордон смотаться, посмотреть, как там племянник себя чувствует...

– Когда ты таким заботливым родственником заделался?

Улыбаясь, Петя промолчал; пожалуй, он, если бы и захотел, не смог бы никому объяснить своей внутренней установившейся связи с племянником; почему-то они были нужны друг другу, и сам Петя ощутил это, как только увидел красное, сморщенное младенческое личико, еще совершенно бессмысленное и ненужное в этом мире. Но в тот момент он, не удержавшись, откровенно изумился и даже высказал сомнение в необходимости и разумности случившегося, и лишь через год, когда ребенок неожиданно улыбнулся склонившемуся над его кроватью Пете, его охватило странное, ни с чем не схожее чувство встречи с самим собой в самом начале пути; у племянника уже ярко светились голубые глаза, он смотрел еще по-младенчески прямо, не мигая, и Петя не выдержал его взгляда.

Внимательно слушая, Лукаш вертел между пальцами зажигалку, его меньше всего интересовали сейчас семейные или родственные связи Пети и его суждения по этому вопросу, да и не верил он в искренность своего собеседника, полагая, что тот преследует какие-то свои цели и ненужными разговорами намеренно отводит в сторону; Лукашу больше всего хотелось знать истинные намерения Пети, заставляющие его уклоняться от прямого и откровенного разговора, он заявил своему старому другу, что его племянник прекрасно вырастет и без него, и, заметив мелькнувшее на лице у Пети ироническое выражение, тотчас, беря быка за рога, прямо перевел разговор на Обухова. Перед Петей скоро составилась довольно реалистический портрет ученого мужа, осмелившегося пойти наперекор «всей Москве», «всей науке», возмнившего себя чуть ли не спасителем человечества, явно страдающего манией величия и по сути дела изгнанного вон и отправленного в ссылку, чего никак не могут понять некоторые великовозрастные недоросли, околпаченные умелой демагогией сего ученого мужа.

– Обухов – настоящий ученый и не собирается никого спасать, – резко возразил Петя, не обращая внимания на прозрачные намеки в свой адрес, – что за абсурд – спасти человечество! Просто он не укладывается в стандарт, говорит, что думает, вот и вся его шизофрения! А

правды у нас не прощают. Спасти человечество! Просто человек ведет будничную, необходимую работу. Ведь считали же когда-то и Циолковского, и Вернадского сумасшедшими... Слушай, Сань, давай договоримся, я не буду слушать всякую ерунду об Иване Христофоровиче, просто он слишком поторопился прийти к динозаврам, вроде нас с тобой, понимаешь, поторопился родиться... И потом, мне наплевать, что о нем думают другие, и ты в том числе. Главное, с ним рядом интересно, тоже начинаешь ощущать себя некоей величиной. Не веришь? Гм, думаешь, неужели это я – тот самый маменькин сынок и пропойца, который когда-то с неким прохиндеем Санькой Лукашом воровал в отцовской библиотеке ценные книги и волок их в букинистический на пропой... Тихо, тихо! Я еще не сказал главного... Понимаешь, мой старый друг и собутыльник, с ним рядом, с Обуховым, – интересно, неудержимо тянет заглянуть за горизонт, куда-то туда, где таится что-то... пусть даже самое невыносимое... А там кто знает... Такие, как Обухов, не укладываются в стандарт... Зачем, допустим, при его глобальном уме ему сейчас потребовались какие-то реликтовые блохи в горячих ключах, какие-то там эндемики... Все равно ведь через два-три года там все уйдет под воду навечно, навсегда. Он же весь дрожит, так боится не успеть.

– Вот именно, – подхватил Лукаш, уже посмеиваясь беззлобно и как бы намеренно вызывая товарища на еще большую откровенность. – Никто не может понять, чем же именно он занимается, а вместе с ним и ты...

– Не один я, у него таких, как я, энтузиастов и последователей хватает, – ушел от прямого ответа Петя. – Я всего лишь обрабатываю и суммирую данные исследований филиала... и поверь, мне интересно, хотя я и зачислен в штат всею лишь рабочим... Абсурд – видите ли, даже ставки младшего научного сотрудника не дают... В конце концов, какая разница, кем числиться? Наступит время – и наши изыскания будут на вес золота, какое там золото! Им просто цены не будет... Вот он сейчас и спешит с экспедицией: на реках громоздят каскады электростанций – и огромные площади, совершенно уникальные в экологическом отношении, навсегда уйдут под воду. Когда-нибудь люди, опомнившись, по материалам академика Обухова будут восстанавливать планету... Пусть пройдут даже миллионы лет! Даже если люди улетят в другие миры...

– Бред какой-то, – не выдержал Лукаш. – Я теперь понимаю, почему у тебя везде разбросаны груды каких-то математических выкладок... раньше я совершенно не мог взять в толк... Ну, хорошо, ну допустим... Но я не понимаю, что тебе мешает написать об этом в наш журнал.

– В свой срок, очевидно, и напишу. Знаешь, Сань, человеческая раса, то есть мы с тобой – самый неэкономный и эгоистический вид жизни, и, если человечество вовремя не остановится и не определит разумные пределы своих потребностей, оно сожрет себя. Исход неизбежен... Впрочем, что это я! – недовольно оборвал себя Петя, заметив в лице Лукаша мелькнувшее, уже знакомое ранее, по прежним их спорам, выражение жестокости и недоверия, но теперь это скорее всего была прорвавшаяся тайная и давняя зависть.

– Бред какой-то... немыслимо для целого института. Жалкий филиалишко... кустарщина какая-то...

– Ну почему же? – опять чуть свысока улыбнулся Петя. – Электронику выколачиваем для филиала. Обещают ЭВМ, правда, уже изрядно устаревшую. Все равно полегче станет. Кстати, периодическая таблица и явилась для Ивана Христофоровича... Гм, гм, – сказал Петя, спохватываясь и обрывая. – Знаешь, Сань, ты прости, мне в самом деле пора...

– Нет-нет, продолжай, – с какими-то мягкими, не свойственными ему интонациями в голосе попросил Лукаш. – Я должен понять, я так не могу, мне нужно искать. Я думаю, мы договорились, ты ведь не отказываешься от сотрудничества в нашем журнале? На корню беру все написанное тобой, понимаешь, все беру! Договорились? Жаль, только-только коснулись чего-то интересного... Кстати, я тоже потихоньку щупаю по совету шефа одну тему... форми-

рование паразитических формаций в новых социальных условиях... ты знаешь, слегка копнул и какой там крутой кипятилок!

Внимательно дослушав, Петя засмеялся (в этот его приезд в Москву его не отпускало ощущение счастья), вытащил из-за дивана большую спортивную сумку, поставил на стол, стал загружать ее заранее заготовленными свертками и пакетами.

– Покупок столько, черт его знает, какие везде очереди. Ребята такой список соорудили... И ведь не откажешь! Там же ничего нет. Одних джинсов семь штук, кроссовок на всю партию. Не подсказешь, где они водятся?

– Теперь везде, – четко, сузив глаза, сказал Лукаш, сдерживая себя и ничем не проявляя обиды и лишь отмечая про себя, что старый товарищ мог хотя бы из приличия поинтересоваться его научной темой. – Мода на них проходит... Валяй в центр... там джинсы какие хочешь, итальянские, западногерманские, американские... Бери не хочу... С кроссовками труднее. Но тоже бывают. Ты что, действительно так переменялся? У тебя и деньги уцели?

– Представь себе, – невозмутимо сказал Петя, про себя наслаждаясь недоверием, прозвучавшим в голосе Лукаша. – Я у Обухова и срываться почти перестал. Если уж совсем горло перехватит... а так – просто не хочется, и все тебе.

– Ну ты титан, Брюханов! – протянул Лукаш по-прежнему недоверчиво. – Что же, теперь только через год увидимся?

– Думаю, раньше, – добродушно улыбнулся Петя. – Месяца через три-четыре я опять буду по делам.

Он ничего не добавил, и Лукаш, не мудрствуя лукаво, стал прощаться; уходя, уже на пороге, он небрежно, как бы мимоходом бросил:

– Да, чуть было не забыл, знаешь новость? Лерка Колымьянова со своим нарциссом разошлась... Встретил ее недавно, ух злая, красивая, как черт... Говорит, богатого жениха ищу... Привет от тебя передать?

– Вот и женись, тебе в самый раз, ты у нас самый перспективный, – тоже с улыбкой сказал Петя, в то же время чувствуя вспыхнувшие щеки.

– Так я передам от тебя привет, бывай, старик! – кивнул Лукаш на прощание, продолжая упорно связывать себя и Петю в одно целое, и вышел.

## 7

Три дня шел дождь, и такая погода грозила затянуться, пока не переменится густой юго-восточный ветер, несущий с теплого Японского моря неисчислимое количество влаги; знал это и Петя, за несколько дней экспедиции сразу же забывший и о мертвой деревне, и о Москве, и о Лукаше; впервые напросившись в такую дальнюю экспедицию, Петя и близко не предполагал, что будет входить в круг его обязанностей и что точно он должен будет делать. Экспедицию доставили к намеченному пункту на вертолетах; лагерь разбили на высоком, каменистом берегу быстрой таежной реки, берущей начало где то в горных распадках, и Обухов, как только прояснилось и тайга слегка просохла, тотчас разослал людей по заранее, намеченным маршрутам. Ушел и сам, решительно отклонив настойчивое требование Пети послать его в один из маршрутов в паре с молоденьким, едва оперившимся биологом Веней Стихаревым, о котором в окружении академика уже говорили как о восходящей звезде, открывшим новый радиационный способ считывания экологической информации биомассы; и Петя, пожалуй, впервые с начала работы у Обухова бурно выразил свое недовольство, и тот, уже готовый к походу, в брезентовой куртке, в свои шестьдесят с лишним лет подвижный, вникающий в любую мелочь, неутомимый, теребя небольшую бесформенную бородку, непреклонно, пункт за пунктом обосновал необходимость именно Пете оставаться в лагере. Вниз по реке, всего километрах в сорока, работала экспедиция археологов, да и вообще в этой местности полно людей, особенно заготовителей, ободрил академик и добавил, что они как раз и вырубают лес, обреченный на затопление, и к ним в случае необходимости всегда можно обратиться за помощью.

– Вы что же, полагаете, что я боюсь? – буркнул Петя, стараясь не обращать внимания на синеглазого Веню Стихарева, увязывавшего огромный, чуть ли не в рост его самый рюкзак; академик, бывший со всеми без исключения, даже, пожалуй, и сам с собою, только на «вы», тотчас как-то совсем по-домашнему, по-отечески потрепал Петю по плечу и, отведя его в сторону, подчеркнуто доверительно, как где-нибудь в утопающем в коврах кабинете, усадил на подвернувшийся замшелый камень и рядом устроился сам.

– На дорожку, на дорожку. – сказал он с улыбкой, сбоку посматривая на строгий профиль хмурившегося, недовольного и явно не скрывающего своего недовольства Пети. – У меня к вам, Петр Тихонович, давняя просьба... Еще и еще раз просчитайте наши зежские дела. Не дай Бог, чтобы вкралась ошибка! Кстати, оттуда, от Воскобойникова, ничего нового нет? Вот посмотрите, непременно что-нибудь проскочит, народ бессонен, от народа ничего не скроешь. Моя давняя боль – зежские леса... Есть серьезные основания тревожиться... Перед отъездом сюда у меня было тяжелое объяснение по все тому же кругу вопросов. Если мы упустим момент... окончательно нарушится экологический баланс европейской части России, и не только одной России, у природы границ не существует. Нельзя опоздать, понимаете, нельзя... При первой же возможности снова командировем вас туда... Там сейчас самый центр, нервное сплетение всего региона...

– Силы очень уж неравны, – буркнул Петя, начиная отходить и по-прежнему не глядя на академика. – Не хватит вас на все...

– Почему – вас? – обиделся академик. – Нас... всех нас. Вы знаете, Петр Тихонович, у каждого есть своя заветная мечта, дорогая, самая дорогая, – продолжал он после недолгой паузы, и в узком прищуре глаз холодно сверкнуло. – Моя давняя мечта – зежские леса... Я ведь давно-давно живу, многое наметилось с юности, да, да, Петр Тихонович, здесь размах, простор, нетронутый, непочатый край работы, и все-таки самая кровавая схватка предстоит нам с вами там – на старых пепелищах. Да, да, именно там, в российском Нечерноземье, как сейчас называют эту землю... Пустыня движется оттуда, она достанет человека и здесь, если он

не опомнится и не остановится... Из ядра столь безжалостно и долго выкачивали, что оно уже давно стало пустотельным, бессильным. У него уже не осталось никаких удерживающих центростремительных сил. Это противоречит физическим законам, национальные окраины вот-вот начнут обламываться...

Обухов вскочил, поднял и Петю, отвел его в сторону от людей, к реке; тут Петя отметил силу и цепкость длинных и тонких пальцев академика, сжавших его локоть.

– Думайте, думайте, думайте! – говорил Обухов, цепко придерживая Петю за локоть. – Мы должны научиться считать, мы должны точно знать в неопровержимых данных, что мы теряем и что приобретаем, затапливая уникальнейшие, огромные площади бесценной земли... Мы перестали считать. Математика, цифры, неопровержимость цифр может остановить человечество от дальнейших безумий. Мы с вами должны научиться считать и научить других.

– Строительство уже идет, и никакие цифры его не остановят, – упрямо возразил Петя. – И если нам даже удастся разработать более или менее точный метод...

– Программа наша рассчитана не на одно наше с вами поколение, Петр Тихонович, – раздумчиво произнес Обухов. – Истина остается истиной и через тысячу лет... С цифрами, с фактами в руках мы их все равно одолеем... И я вас очень прошу, кто бы сюда ни заявился, – тут академик сердито топнул ногой в каменистую землю, – вы не знаете, слышите, совершенно не знаете, где я и есть ли я вообще, и тем более если сюда пожалует моя жена, что вполне вероятно... Карты маршрутов у тети Кати, она знает, от нее никто ничего не добьется.

Тут Петя, уже не скрывая веселого изумления, глянул в глаза академика, и тот, подмигнув, рассмеялся.

– Видите ли, Петр Тихонович, все дело в биологическом чувстве опасности. Просто оно пришло ко мне раньше других – сама жизнь в опасности, и опасность исходит от нас самих. В зежских лесах намечается расположить мощнейший источник энергии, вот о чем мне стало известно, Петр Тихонович... вот о чем у меня душа болит... я всюду был, пишу во все возможные инстанции. Но камень преткновения в академике Александрове. Атомные электростанции – «фата моргана» президента, он предан своей идее и не свернет ни на полшага. И верхний эшелон власти он давит своим авторитетом. Я надеюсь на коллективный разум. Не самоубийцы же там окопались... Хотя я все больше и больше убеждаюсь в лености и отсутствии элементарного любопытства заглянуть хотя бы на полвека вперед. Просто грабят природу и не утруждают себя расчетами хотя бы на ближайшие два десятилетия... Благо, есть что грабить, привалила дуракам удача... Да, впрочем, России со времен Петра Великого, вашего тезки, так больше и не повезло по-крупному... Вы что-то хотите сказать, Петр Тихонович?

– Ничего особенного, Иван Христофорович, только одно, – ответил Петя; впервые столкнувшись с предельной откровенностью Обухова, он не понимал до конца, чем она вызвана. – Без энергии невозможно движение, источники энергии истощаются, другого пути нет, и вы это лучше других знаете...

– Знаю, – подтвердил Обухов, – к сожалению, знаю. Любой источник энергии связан с ущербом для окружающей среды, я это тоже слишком хорошо знаю, если так будет продолжаться, прочность экологических систем просто не выдержит. Вот и получается, Петр Тихонович, парадокс: за жизнь, за человека нужно бороться с самим человеком... Впрочем, заговорил ведь с вами совсем по другому поводу. Выслушайте серьезно, не примите за старческое чудачество...

– Иван Христофорович...

– Ладно-ладно, – остановил его Обухов, – я же знаю, как вы меня зовете. Шестьдесят два есть шестьдесят два, все закономерно. Дело не во мне, от каждого из нас зависит исход. Что поделаешь, так случилось... стать на сторону добра, поддерживать разумное в жизни – теперь уже подвиг. Я одного хочу, чтобы рядом со мной люди делали выбор осознанно, не ссылаясь потом на незнание... И у вас еще есть выбор...



Проводив последнюю уходящую на заданный маршрут пару, Петя продолжал раздумывать над разговором с Обуховым, решив тем временем получше познакомиться с оставленным на его попечение солидным хозяйством; обойдя палатки, он посидел у стола, сбитого из неструганных березовых жердей. Слова Обухова не шли у него из головы. Между тем тетя Катя развила в опустевшем лагере бурную деятельность; тетя Катя, которую все без исключения звали в экспедиции именно так и не иначе, была никакая еще не тетя, а вполне молодая женщина, всего лишь лет на десять старше самого Пети, сухощавая, энергичная, безраздельно отдающая себя работе. Она числилась заместителем Обухова по хозяйственной части, прекрасно справлялась с рацией, виртуозно и бесперебойно выходила в эфир, занимала также должность повара, исправно и умело оберегала своих подопечных от заболеваний, оказывала в случае необходимости срочную медицинскую помощь, заведовала экспедиционной аптечкой. У тети Кати было миловидное лицо, обрамленное коротко стриженной русой челкой, пухлые щеки с ямочками и небольшие яркие карие глаза. Тетя Катя всех в экспедиции, кроме самого Обухова, называла только по имени и только на «ты» и лишь самого академика величала, тщательно выговаривая каждый звук, Иваном Христофоровичем; поговаривали, что тетя Катя предана академику собачьей нерассуждающей преданностью и ездит за ним во все экспедиции.

Между тем день разгорался; лагерь был разбит на открытом месте, и все-таки таежный гнус начинал донимать; поеживаясь от потянувшего с реки промозглого ветерка, Петя сходил в палатку и нацепил на голову накомарник; после обеда (пшенной каши с мясом) тетя Катя, улыбаясь всеми своими ямочками, выдала ему тюбик с неприятно пахнущей мазью, посоветовала тщательно натираться, прежде чем идти в тайгу, и попросила сделать запас сушняка. Кивнув, Петя взял топор и отправился, на заготовки; сушняка было много набито по берегам речки на каменистых отмелях; в распадках сопок, заросших густым ельником, тоже хватало валежника. Охалку за охалкой Петя таскал топливо на стоянку, к большой палатке, к навесу, под которым была устроена своеобразная кухня с плитой, сложенной из дикого камня. Скоро ему стало жарко; сбросив куртку и раздевшись до пояса, он с наслаждением вымылся пронзительно холодной речной водой; комары и таежный гнус остервенело набросились на него, и он поспешил натянуть на себя одежду и набросить на голову накомарник. От непривычной работы в плечах ломило, ладони саднило. Необозримые безлюдные пространства вокруг все больше захватывали его: бесчисленные, уходившие к северу, все выше и выше, к самому небу сопки с их каменными то желтоватыми, то розовыми осыпями-проплешинами, с их распадками и отвесными обрывами, с их у самого горизонта, в немыслимой дали, ослепительно бело горевшими под солнцем остатками ледников, почти полностью исчезавших к концу лета и дававших начало бесчисленным таежным ручьям и речушкам. В другую же сторону, к югу и западу, все понижаясь и наконец сливаясь с горизонтом, уходили разливы тайги, испещренные рукавами рек; над всеми этими немереными пространствами в ослепительно чистом, хрустально-синем небе сияло наполненное тяжелым золотом солнце. Взобравшись на причудливый каменный вырост, нависший над рекой и открытый любому, даже самому легкому ветерку, вслушиваясь в голос реки, с грохотом катившейся из поднебесья, бившейся и тершейся о берега, без устали ворочавшей валуны и гальку, Петя почувствовал себя еле различимой, необходимой нотой в общем, слитном и согласном звучании земли и неба. Близился вечер, и солнце висело совсем низко над сопками, размывая и растворяя их вершины в ширившемся, обнимавшем все большее пространство зареве неестественно бледного огня; Петя, задержав дыхание, наблюдал за невиданной картиной, начиная уже уставать от переизбытка красок, от своей неспособности сразу вместить, понять и принять весь этот сказочно прекрасный мир гармонии, согласия и тишины.

Петя прислушался, он отчетливо различил странный, долгий, как бы хрустальный звон, словно сквозь все видимое пространство сопок и неба прошла извилистая трещина. Петя недоуменно оглянулся. Солнце уже ушло, и теперь веер малиновых с золотом лучей напряженно

бил из-за потемневших, резких контуров далеких сопок; был тот зыбкий момент противостояния дня и ночи, который всегда отзывается в живом существе смутным ожиданием; кажется, стоит всего лишь шевельнуться – и что-то непоправимо расколет, разобьет эту тишину и согласие. И точно, в этот самый момент через тайгу и небо опять пробежала хрустальная трещина; выждав, Петя спустился к палаткам, и тетя Катя тотчас позвала его ужинать, пока все было спокойно; Петя вопросительно взглянул в ее всегда приветливое ясное лицо и уловил в нем какую-то задумчивость и тревогу.

– Я тут, пока ты сушняк таскал, получше осмотрелась, – сказала тетя Катя в ответ на его взгляд. – Там, вверху, – просторная площадка, камень... там бы надо было лагерь ставить...

– А что такое? – спросил Петя, прихлебывая чай, решив не высказывать вслух своей неясной тревоги. – Низковато?

– Низковато, да и вообще не нравится мне что-то, – сказала тетя Катя, тряхнув головой, как бы поясняя тем самым, что ей не нравится вообще все вокруг; ямочки ее стали заметнее. – Давит какая-то тяжесть, давление, что ли, меняется, – легонько вздохнула тетя Катя, незаметно успевая при этом убирать со стола, подливать Пете свежую заварку, придвигать ему нарезанный, остро пахнущий сыр из дополнительных запасов. – Ешь, ешь, не стесняйся, воздух свежий, а ты мужик вон какой справный, в оглоблю вымахал. Петр Тихонович, ты заметил, к вечеру потеплело, духота опустилась, гнус вон что выделяет... Ты полог получше подоткни... а то кровопийцы спать не дадут. Да, Петр Тихонович, – опять неожиданно спросила она, вновь называя его по имени-отчеству и тем самым как бы возводя в более высокий ранг, – мы как, ночевать вместе будем?

– То есть как это вместе? – спросил Петя, прищурившись и вскинув глаза на тетю Катю, и тут же в ответ на ее улыбку что-то буркнул, глянул в сторону и принялся искать зажигалку; смех у тети Кати оказался заразительный, немного глуховатый.

– Я спрашиваю про палатку, в одной палатке или каждый у себя? – разъяснила тетя Катя. – Все таки тайга, глушь, вон куда забрались, сюда, видно, человек-то и сроду не забредал. Так что спи спокойно, Петр Тихонович, не бойся... А вот ружье под руку подсунь...

– Чего мне бояться? – Петя пропустил ее последние слова мимо ушей, припоминая что-то обидное для его мужского самолюбия, сказанное ею раньше. – Бояться тут нечего... Если хочешь, я свой полог в большую палатку перетащу, пока светло... могла бы и раньше сказать...

– Ладно, ладно... Тайга есть тайга, зверь ненароком наведается... А так что ж... Я тоже не из пугливых, – заверила его тетя Катя, и, несмотря на весь ее решительный вид, Пете сделалось ее жалко; какая-то чужая, тайная боль коснулась его, и он едва удержался, чтобы не сказать в ответ какую-нибудь дежурную глупость, от которой обоим стало бы неловко. Люди, как всегда, ничего не знают друг о друге, каждый занят собой, и он мог бы узнать что-то о ней, ее личной жизни, хотя бы Ивана Христофоровича спросить, раз она всюду с ним ездит.

– Я костер люблю, – тихо сказала тетя Катя. – Хочешь, Петр Тихонович, костер разжечь? И гнусу станет меньше... Чай можно вскипятить, чай от живого огня дымком, избой пахнет... я могу просидеть у костра ночь напролет... Что, Петр Тихонович?

– Я – с удовольствием, – сказал Петя, отмечая про себя ее, ставшую уже неистребимой, потребность о ком-то неустанно заботиться, оставаясь при этом совершенно незаметной; едва разгоревшийся вначале слабый огонек жадно поглощал сухие сучья, быстро и как-то внезапно потемнело, и разговаривать не хотелось. И тетя Катя, и Петя думали каждый о чем-то своем; он был благодарен тете Кате за душевную чуткость, и, если бы не гнус, лезший сплошной, ноющей, неодолимой массой в глаза, в нос, в кружку с чаем, он был бы совершенно счастлив. Такой дикой, нетронутой, какой-то пронзительной красоты он до сих пор не встречал; от света костра мрак вокруг усилился, сливаясь в сплошную, плотную блестящую черную мглу, подступившую со всех сторон, но стоило поднять глаза – и над этим беспробудным безбрежным мраком четко прорисовывались контуры сопки, их острые вершины, как бы облепленные со

всех сторон мерцанием звезд. Кто-то, кому нет названия и имени, продолжал в густом, душном мраке ночи таинство продления жизни, и попытка людей вмешаться (Петя подумал о своей экспедиции, о честолюбивых планах и надеждах академика Обухова) – всего лишь бесплодное, жалкое высокомерие «мыслящего тростника», бессильные подступы и пробы к продлению и утверждению самого себя. Надо жить, просто жить, сказал себе Петя, устраиваясь в палатке на ночь (все-таки гнус одолел их у костра и заставил, несмотря на двойные накомарники, противомоскитные маски и чудодейственную мазь тети Кати, которой она натерлась, поскорее затушить огонь и разойтись), он зажег стеариновую свечу и по совету тети Кати положил рядом с пологом карабин, чтобы тотчас, в случае необходимости, можно было сразу его нащупать. Раздеваться в самой палатке не было никакой возможности: едва свеча загорелась, тотчас поднялось дружное, непрерывное гудение и комары густо полезли на свет; Петя ужаснулся. Тело от духоты давно стало влажным и липким; наконец, решившись, он стащил с себя накомарник, сапоги, брезентовую куртку, рабочие брюки и, поспешно схватив горящую, распространившую уютный, тепловатый запах свечу, поднырнул под марлевый полог; первым делом он тщательно подоткнул края полога под матрац, безжалостно уничтожая пробравшихся и в это последнее убежище комаров, вновь и вновь все тщательно, до малейшей складки осматривая, и, затаившись, конечно же, тотчас услышал зазвучавшую под пологом, непередаваемую завораживающую музыку; казалось, слетелось комарье со всего света; стоило Пете слегка тронуть ткань полога, многомиллиардный хор начинал звучать с нарастающей, оглушительной, стихийной силой – это была, наверное, самая древняя музыка на земле, отупляюще завораживающая, со своими подъемами и спадами, и ее нельзя было ни выключить, ни приглушить, от нее некуда было деться, к ней просто необходимо было притерпеться и привыкнуть. Петя дунул на свечу: душный, звенящий мрак стал стихать; и Петя сказал себе, что день прошел хорошо, осмысленно, и даже тетя Катя приоткрылась совсем с незнакомой стороны; кто знает, возможно, ему и нужна именно такая вот женщина рядом, как эта тетя Катя, с ее способностью и быть и не быть, с ее неназойливой и бережной заботой, ведь нельзя же ему так всю жизнь прожить одному, И нельзя, и нехорошо; ведь вот даже простое, непритязательное общение с женщиной у таежного костра пробуждает черт знает какие мысли...

С хрустом, длинно потянувшись, Петя, опасаясь нарушить полог, спохватившись, подобрал ноги; вновь воевать с комарами ему не хотелось. Ему представилась совершенно реальная и в то же время глупая, немыслимая картина: он с тетей Катей, теперь уже его законной женой, за семейным овальным столом, сплошь утыканным по краям чистыми русыми детскими головенками, и даже племянник Денис, кажется, присутствовал...

Петя тихонько засмеялся, на него незаметно напозла теплая мгла, тонкое комариное пение отдалилось и затихло, и все исчезло. Он заснул с ощущением покоя и счастья и, казалось, тут же проснулся, как от толчка. Что-то рушилось, грохотало и выло, и он еще во сне подумал, что это в лагерь, очевидно, наведася тот самый таежный, обещанный тетей Катей зверь; все еще не проснувшись, он бессознательно потянулся за карабином, затем рывком сел. Тетя Катя, стоя на коленях, сильно и часто дергала его за ногу; он узнал ее голос – в крошечной мгле совершенно ничего не было видно. Парусина палатки оглушительно хлопала, кто-то стонал и грохотал, и – непрерывный воющий гул продолжал валиться откуда-то сверху; слышался рев близко несущейся воды.

– Скорее! – кричала тетя Катя, по-прежнему сильно дергая его за ногу. – Скорей, Петя, скорей! Говорила, лагерь выше ставить! Так нет же, нет, все умные... Скорей!

– Да что такое? – в свою очередь закричал Петя, освобождая ногу и выбравшись из-под полога, поспешно, на ощупь одеваясь.

– Вода подступает, сверху катится! Все унесет! – сквозь вой и треск прокричала тетя Катя. – Говорила ведь, говорила! Куда там! Мужики! Что бабу слушать?! Да скорей же ты, тоже растелешился, что тебе тут, столичный люкс? Скорей, перетаскиваться надо!

– Сапога не найду, – сквозь зубы ругнулся Петя. – Ага! Вот! – обрадовался он попавшему под руку фонарику, включил его и тотчас увидел пропавший сапог. – Вот черт! Под руками! Перетаскиваться в такую темень? – спросил оп. – Тут же сам черт ногу сломит...

– Вот горе с этими городскими! – закричала тетя Катя. – Уже прорезывается, сереет, скорей, скорей! Ты что копаешься! – торопила она, и Петя, кое-как надернув сапоги и натянув куртку, выскочил вслед за нею из палатки. Дальше всю полноту власти взяла на себя тетя Катя, и Петя безоговорочно, нерассуждающе ей подчинился, косясь на притиснутое к земле, тяжелое, воющее небо. Затем он уже не успевал даже оглядываться кругом, пока затаскивал очередной груз вверх на сопку, на примеченную еще с вечера тетей Катей просторную каменистую площадку, и, задыхаясь, спускался вниз; тетя Катя тотчас наваливала на него новую ношу, она распределяла, что спасать и уносить в первую очередь, с чем можно погодить; только тут Петя оценил ее сметку и расторопность, ее энергическую натуру; несколько раз она сама, тяжело нагруженная, поднималась с самым ценным грузом, который не рискнула доверить Пете, на верхнюю площадку; ухитрилась каким-то образом снять палатки, все наскоро кое-как увязать и даже успела в момент, когда Петя совсем уже изнемог и обессиленно опустил на камень, сунуть ему кружку горячего кофе из термоса, а сама, не теряя ни минуты, как муравей, потащила волоком наверх очередной тяжелый тюк. Залпом выпив кофе, Петя догнал ее, тяжело отдуваясь, взвалил тюк на спину и уже привычный, хорошо теперь различимым в белесой утренней мгле следом снес его наверх, бросил в общую груды и тут же побежал вниз: минутой раньше он думал, что больше не двинется с места, ноги подламывались, в груди стояла острая резь, перед глазами плыло, и вдруг он почувствовал новый, неожиданный прилив сил; тело окрепло, дыхание выровнялось; сбегая вниз за очередным грузом, он кричал что-то бодрое и нелепое. Не переводя дыхания, сбегал наверх несколько раз подряд, оставалось перетаскать самую малость, и тетя Катя металась по опустевшему лагерю, опасаясь забыть что-нибудь стоящее, бросая последние мелочи на разостланный брезент. На месте стоявших палаток кое-где оставались крепления; тяжело бухая отсыревшими сапогами, Петя срывал эти крепления и перебрасывал их выше. И тетя Катя закончила свою часть работы. Оттащив последний мешок с мелочами наверх на новое место, она совершенно без сил свалилась рядом с мешком, на землю и теперь тупо глядела сверху вниз на бегающего по старой опустевшей стоянке Петю: он был без фуражки, время от времени запрокидывал лицо к небу, к тучам, со свистом, вприценку к земле несущимся с юга. Уже рассвело, и тетя Катя хорошо видела выражение лица Пети и подумала, что мужик, хоть и москвич, оказался толковым и надежным, на такого можно положиться. Тут она заметила, что Петя уже по щиколотку в выступившей из берегов воде и из-под его ног при каждом шаге взлетают фонтаны брызг; вскочив, тетя Катя отчаянно замахала руками и, пытаясь перекрыть вой ветра и рев несущейся сверху воды, волочившей по дну ущелья множество камней, окликнула Петю, но тот не услышал и продолжал разбирать и перебрасывать каркасы палаток на более высокое место. Не помня себя, тетя Катя бросилась вниз; каменная глыба, высоко торчавшая из земли, на какое-то время скрыла от нее происходящее на берегу; задыхаясь, она обежала каменный вырост и теперь уже с более близкого расстояния закричала, отчаянно замахала руками, предупреждая об опасности. Уже по колено в воде, он и сам стал шаг за шагом отдаляться от берега реки, и тетя Катя облегченно перевела дух; пробираясь среди катившейся воды, Петя ободряюще поднял руку и, увидев шагах в четырех от себя воткнутый в ствол осины ладный, уже знакомый ему топор, свернул в сторону, быстро выдернул топор из дерева, радуясь ощущению собственной ловкости, собранности и силы; новый, отчаянный, захлебывающийся крик тети Кати он услышал, но что-либо понять и даже оглянуться не успел – его рвануло, ударило и поволокло катившимся сверху по ущелью новым взбухшим валом из воды, валежника, сора, камней; перед ним лишь на мгновение мелькнуло косое, рваное, звенящее небо, затем его перевернуло, потащило куда-то вниз, опять вверх, стало швырять из стороны в сторону, и он почувствовал, что голова его чем-то

намертво зажата, вот-вот лопнет; вспыхнула мгновенная острая боль, в глаза полыхнуло жгучим огнем. Он понимал теперь, что он под водой и его куда-то неудержимо несет, он стал отчаянно рваться, руки его сами собой за что-то хватались, он извивался всем телом и, уже почти теряя сознание, почувствовал, что его вновь подхватило и втянуло в себя какое-то крутящееся, чудовищное колесо. «Ну вот и кончилось все», – мелькнуло в нем слабеющим, разорванным бликом; какой-то странный, перламутровый свет обступил его со всех сторон – и боль прекратилась, ушла из тела. «Как все просто», – опять отдалось в нем; и он еще вяло, неосознанно шевельнулся, как бы удобнее устраиваясь, и тотчас голову и правое плечо у него выдавило на поверхность, в просвет продолжавшего нестись вниз, сцепившегося переломанными стволами, корнями, сучьями таежного заломы из валежника, и Петя, глотая воздух изболевшейся, сдавленной грудью, долго еще не мог шевельнуться и осмотреться. Он знал, что перед этим он уже умер и что случившееся затем – неправда, но его начавшее оживать тело теперь действовало и боролось само по себе, рука как бы сама собой все крепче и крепче обхватывала измызганный ствол дерева с торчавшими во все стороны, остро обломанными сучьями, несущийся в потоке в невероятном переплетении с другими деревьями, пнями, корягами; еще подождав, он, раздирая кожу на груди и животе, выбрался наверх и плашмя прижался избитым телом, по-прежнему не чувствующим ни боли, ни холода, к какой-то коряге, измочаленной до хлопьев. Окончательно сознание возвратилось к нему вместе с медленно подступавшим чувством ужаса самой реки, бешено гудящей внизу и несущей неисчислимые массы мутной пенящейся воды; ощущение отвратительных, тяжких, безжалостных глубин внизу, под собой, на какое-то время почти парализовало Петю. Залом в этот момент близко проносился мимо скалистого, обрывающегося отвесно в воду подножия сопки, наполовину скрытой опустившимися и тоже стремительно несущимися сплошными облаками: преодолевая слабость и тошноту, Петя с усилием приподнял голову. Он хороший пловец, но здесь ничего не поможет, на уходящую в облака стену не вскарабкаться; он вновь затих и почти сразу же с какой-то внезапной, пробудившейся, почти первобытной жадностью стал всматриваться в проносящийся мимо отвесный берег. И тут же, на очередном крутом повороте реки Петя едва поверил собственным глазам: вырвавшись из тесного каменного горла, река круто поворачивала и сразу же широко и привольно разливалась; открывался безбрежный речной простор; он даже успел отметить, что сильный ветер срывал верхушки волн и что берега сразу же широко раздвинулись, стали пологими. Но все это он увидел еще до вздувавшегося на выходе из тесного ущелья водяного вала, и тут же несущийся залом под ним задрожал, затрепал и взлетел, казалось, к самым облакам и сразу же рухнул вниз, рассыпаясь под чудовищным, тягостно стонущим ударом немереной водной массы. Петя не успел даже испугаться; уцепившись все за ту же измочаленную корягу, он вместе с ней стремглав полетел вниз, его словно сковала со всех сторон мертвая окончательная тяжесть; он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, ощущая в то же время одно лишь сумасшедшее движение, опять его несло, швыряло, рвало во все стороны и наконец выбросило наверх, и он оказался среди разлива сравнительно спокойной, волнуемой лишь сильным непрерывным ветром воды. Озираясь, он увидел множество плывущих рядом деревьев с застрявшими на них сучьями и сорванной корой, с торчавшими над водой и тоже обломанными корнями; залом, увлекший его вместе с собой, на выходе реки из тесного каменного горла рассыпался, и теперь все, что минуту назад представляло собой единую массу, плыло по отдельности. Правый берег был не так уж и далеко, метрах в трехстах, и Петя набирался решимости расстаться с надежной корягой, хотя хмурый, утопавший в пелене дождя берег не сулил ему, почти голому, без припасов и спичек, ничего хорошего. Можно было попытаться, конечно, пока не сожрет гнус, добраться по берегу до тети Кати, но черт знает как далеко его унесло. Выжидать было нельзя, тело коченело от холода.

Почти в полуобморочном состоянии он соскользнул в воду и сразу, чувствуя силу и быстроту течения, толчком отбросил себя подальше от коряги, стал быстро, наискосок течения гре-

сти к берегу; тело постепенно стало разогреваться. Петя больше ни о чем не думал, не раз-решал себе думать; теперь ему нужен был всего лишь кусочек твердого, надежного берега – единственная ценность и смысл всего сущего; сейчас его избитое, изломанное тело продол-жало жить жаждой ощущения близкой земли, только бы ткнуться в нее губами, лицом, грудью, только бы почувствовать ее твердость – и пусть жрут комары, пусть коченеет тело и останав-ливается дыхание...

С трудом заставляя себя шевелить все больше немевшими руками и ногами, он видел вокруг себя только бесконечную воду, волны били в лицо, вода падала сверху; порывистый дождь все усиливался, переходя в ливень, и скоро Петя потерял из виду берег, скрывшийся в сплошной, рушащейся стене дождя, и опять каким-то последним, не поддающимся осознанию усилием воли он сделал еще один безотчетный рывок и, задыхаясь, захлебываясь, глотая воду, различил перед собой неясно надвинувшийся берег. Сначала он не поверил, и только иной, в чем-то переменившийся рев дождя, какие-то иные, непрерывные, материальные звуки, несо-мненно связанные с твердой землей, убедили его; теперь он уже видел подмытые, почти упав-шие на воду деревья; корни их еще держались за землю, а вершины уже полоскались в воде, загнутые в одну сторону стремительным течением. Попытавшись коченеющими руками схва-тить скользкие ветви, Петя сорвался, и его проволокло понизу, под валежником; ударившись грудью о полузатопленный суковатый ствол, он вновь ухватился за подвернувшиеся сучья и теперь все-таки удержался, хотя новая, отчаянная борьба только начиналась; упорное течение уже затаскивало его под очередной топляк; ноги, тело до подбородка были уже там, и все теперь зависело от рук, от того, хватит ли сил выбраться наверх. Переживая, пока в глазах прояснится, пройдет серый полумрак, он перевел дыхание; появилось нехорошее ощущение тошноты и холодные судороги в желудке. Из-под сорванных ногтей сочилась кровь, руки, скользя по раз-бухшей коре, окончательно срывались... И тогда он услышал свой слабый крик; течение под-хватило его, поволокло, переворачивая под полоскавшимися в воде, подмытыми деревьями, колотя о них то головой, то плечами, и он каждый раз, ударяясь о что-то тяжелое и скользкое, уже теряя сознание, все же пытался схватиться за подворачивающиеся сучья и коряги, руки его действовали как бы отдельно, сами по себе; он уже не помнил, когда его вынесло из-под навала деревьев и поволокло, перекатывая по отмели, и опять-таки руки его, сами собой, отдельно от сознания, цепляясь за песок и камни, сделали свое дело – его вытолкнуло на отмель, прибило к большому камню; его последним ощущением было чувство долгожданной земли, остановки, пробившееся к нему в самый последний момент сквозь коченеющие пальцы, и затем где-то слабо тлевший в нем и согревавший его крошечный огонек окончательно погас.

Пробуждение его опять-таки началось с этого крошечного, едва тлевшего огонька, теперь появившегося уже где-то вовне; Петя увидел, почувствовал его, не открывая глаз, через кожу век. А затем до него дошел тонкий, слабый запах; это уже начинался какой-то бред. Перед ним из туманного пятна образовалось мучительно знакомое, ненавистное и по-прежнему притяга-тельное лицо и склонилось к нему ближе; с трудом шевеля распухшими тяжелыми губами, Петя постарался отодвинуться подальше.

«Зачем ты пришла, – сказал он. – Я тебя не звал... Когда я ночами торчал у тебя под дверью, ты не замечала, издевалась... а теперь вот пришла... Уходи, Лера... нехорошо тебе быть здесь...»

«Ты так изменился, – сказала она с недоверием. – Неужели ничего не осталось, все выго-рело?»

«Все, дотла, – подтвердил он, не скрывая своего горького торжества. – Ты давно, беспо-воротнo выбрала, ты сама выбрала... Уходи, Лера, уходи...»

«Куда? Здесь же кругом одни топи, туман, непроходимая, ужасная тайга, – сказала она. – Я ничего не знаю, я пропаду...»

Вжавшись в подушку, Петя заерзал головой, замычал: гримаса боли раздвинула его черные бесформенные, вспухшие губы, но тонкий, слабый запах духов (Петя даже помнил этот запах) не исчезал, и тогда он заставил себя приоткрыть глаза. Неясный и нелепый бред продолжался; он увидел в мутном полумраке чье-то расплывающееся вздрагивающее, точно в отражении из текущей воды, лицо и шевельнул распухшими губами, и тотчас до него дошел тихий женский голос.

– Кажется, очнулся, – прозвучал над ним чей-то далекий, отчетливый и словно бы уже знакомый голос, и теперь Петя увидел над собой показавшиеся ему невероятно большими, блестящие, густо опушенные ресницами глаза; сознание возвратилось к нему; совсем юное еще, девичье лицо с нежным овалом подбородка теперь проступило полностью, и глаза засияли ярче, и тут Петя подумал, что никогда раньше не видел такой красоты и нежности, и сказал себе, что наконец-то пришла она, и что он ее долго и бесплодно искал, и вот она появилась, и в ней теперь вся его жизнь, вся дальнейшая жизнь без нее казалась бессмысленной, она связана с ним каким-то больным и глубоким чувством сопричастности к таинству и мраку исчезновения. Он испугался, что она может исчезнуть так же внезапно, как и появилась, и, по-прежнему с трудом шевеля чутунными губами, стал невнятно что-то говорить, попытался дотянуться до нее, хотя руки по-прежнему не слушались и куда-то пропадали, затем он всхлипнул, недоверчиво затих и услышал все тот же голос:

– Очнулся... дорогой вы мой... вот спасибо! Нет, это было бы ужасно...

И на него хлынул мягкий обволакивающий свет ее лица.

– Кто... вы?

– Потом, потом! – сказала она. – Успеется! Я сейчас вас горячим напою. Вы третьи сутки ничего не ели.. Только вода.

– Третьи сутки?

– Молчите... потом, потом все... расскажете, что с вами случилось... А теперь... вот, давайте, давайте...

Она ловко и бережно приподняла его тяжелую, неповоротливую голову и стала поить с ложечки, и затем он опять впал в забытие, теперь ненадолго, и часа через два, вновь придя в себя и лежа с закрытыми глазами, подождал, вспоминая и вслушиваясь. Она была рядом, и Петя, растягивая неслушающиеся, вспухшие губы в безобразную улыбку, сказал:

– А я знал, что вы здесь, я даже во сне вас слышал...

– Как вы себя чувствуете?

– Очень жарко, – сказал Петя. – Я хотел бы сбросить одеяло, оно меня просто жжет... Ничего не понимаю, я, кажется, совершенно голый... У меня даже словно и кожи нет, один огонь... странно...

– Ничего странного, – сказала она, наклонилась и положила руку ему на лоб. – У вас сильный жар... я даю тетрациклин... как вы переносите антибиотики?

– Дайте мою одежду, – попросил Петя. – Мне встать нужно.

– Одежду? На вас ничего не было, – сказала она задумчиво. – Почему-то один левый сапог... И ключья майки... Лежите, вам нельзя пока вставать. Вас сильно побило... сплошные кровоподтеки... Если вам что нужно, вы мне скажите, не стесняйтесь... меня и оставили специально дежурить с вами... Меня Олей зовут...

– Оля... Оля... вот как, Оля, – сказал Петя, повторив ее имя несколько раз подряд и не отрываясь от ее лица. – Кто же вы... Оля?

– Лежите, лежите, сейчас узнаем, сколько у вас, – сказала она, сдвинула слегка одеяло и положила ему под мышку термометр, и в ее лице появилось напряжение. – Знаете, на вас было страшно смотреть... Это все, конечно, пройдет... Река от непогоды разлилась, вас к нашим палаткам прибило... Представьте себе, ведь расскажи, не поверят, что такое бывает, – продолжала она в ответ на его молчаливое ожидание. – Мы археологи, мы здесь Барвайские пещеры

перед затоплением описываем – наскальные рисунки... Понимаете, я должна была в Крыму работать, я художник-реставратор, но здесь такой аврал.. Меня вызвали...

– Я знаю, это ты меня нашла и спасла, – сказал Петя с разгоревшимся от жара лицом и блестящими глазами. – Я это точно знаю, – повторил он настойчиво, и она вновь успокаивающе положила ему на лоб прохладную, узкую ладонь.

– Вы знаете, вы меня перепугали, я совершенно одна на дежурстве оставалась, – сказала она. – Нельзя быть таким большим и тяжелым... просто безбожно... Еле-еле затащила в палатку, даже заплакала от злости... А вас как зовут?

Петя повернул голову и потерся своей колючей щекой о ее руку.

– Ты красивая, – сказал он с трудом, глаза у него по-прежнему ярко блеснули. – Ты очень красивая... Ты меня Петром зови... Только, пожалуйста, не уходи.

– У вас просто очень высокая температура, Петя, – сказала она каким-то озадаченно-изумленным голосом, мягко и в то же время настойчиво высвобождая свою руку из-под его щеки. – Ну да, так и есть – сорок... Сейчас я вам дам тетрациклин...

Она пошла в угол палатки за лекарством, спиной чувствуя его горящий, лихорадочный взгляд и на полпути невольно оглядываясь и успокаивающе улыбаясь ему.



## 8

Петя вышел из больницы через месяц с небольшим; в экспедицию он вернуться не мог, хотя и рвался; врачи категорически запретили ему думать об этом в ближайшие полгода; наоборот, настоятельно советовали ехать в Москву, затем в Крым на два-три срока. У него после тяжелейшего воспаления оставались затемнения в легких, но Петя врачам не верил, и только постоянная, непроходящая слабость и привязавшийся глубокий кашель не давали ему поступить по-своему. Он потихоньку работал в филиале, приводил в порядок и систематизировал поступающие время от времени материалы из экспедиции, осмысливал и пытался обобщать и свой прежний опыт работы на заводе, дважды выступал в газете со статьями, по все это сейчас было не главное для него. К нему привязалась другая, совсем уж безжалостная болезнь, и он не находил себе места и томился; теперь в бессонные часы все чаще перед ним появлялось лицо Оли, и хотя он хорошо и ясно помнил их первую встречу и сказанные им слова о ее красоте и о своей любви к ней, но теперь все, что произошло раньше с ним и с Олей, как-то отступило, поблекло и казалось чем-то придуманным и даже никогда не происходившим в реальности, связанным всего лишь с его разгоряченным от болезни воображением. Петя всегда знал, что и Оля была, и ее удивительные глаза были, и руки были (он иногда, задумавшись, даже чувствовал ее руки, и ему становилось не по себе от такой глубокой, сильной памяти), и он, конечно же, говорил о ее красоте и о своей любви, он ей оставил свой адрес и телефон. Все это было, было, и ему, надо думать, тоже предстоит обычный, узаконенный путь жизни, но ему еще не пятьдесят и даже не сорок, и он еще успеет; сейчас нужно думать о другом, о главном: ведь Обухов, несмотря на окружавшую его плотную завесу официального недоброжелательства, непризнания, каких-то порой совершенно чудовищных слухов, – действительно новое направление в науке, совершенно новая отрасль знания и социального прогнозирования, и, если года два продержаться с ним рядом, можно будет и свое слово найти и сказать. Должны же люди подумать и бестрепетно, разумно посмотреть в свое будущее, продолжал развивать свои мысли Петя, вспоминая травлю вокруг имени Обухова, заставившую того, по сути, бежать из Москвы.

Он с нетерпением ждал завершения экспедиции и возвращения Обухова. В так называемой экологической таблице концентрации величин Обухова он нашел ряд неточностей и однажды вообще обнаружил иную, более убедительную и результативную логику построения всей таблицы; вначале он был ошеломлен и не поверил себе, но долгий и кропотливый математический анализ подтвердил его правоту; Петя увлекся, еще и еще раз перепроверял полученные данные. Но вот однажды, находясь в самом горячем этапе теперь уже окончательной, как он думал, перепроверки принципиально нового построения таблицы Обухова, он, услышав телефонный звонок, взял трубку больше от неожиданности; ему давно никто не звонил на работу, и телефон сутками молчал. Он сразу узнал голос, и у него тепло и нежно отозвалось в груди, и пришлось помолчать, собраться.

– Здравствуйте, здравствуйте, Оля, – сказал он наконец. – Я сразу вас узнал... Узнал и не поверил...

– А я решила вам позвонить, – сказала Оля, – узнать, как вы себя чувствуете.

– Ничего страшного, давно работаю. Все хорошо, спасибо. А вы, значит, в Хабаровске? Что у вас?

– Я завтра улетаю, я проездом здесь, – сказала она. – Я очень рада за вас, ведь обошлось! Какая история... Ну что же...

– Оля, Оля, когда мы встретимся? Мне хочется вас видеть, – заторопился он, понимая, что говорит совершенно не то, что раньше хотел и думал сказать, и не в силах остановиться. –

Может, сегодня вечером у входа в парк? Походим, на Амур посмотрим. Здесь самое замечательное – осень... Должен же я вас поблагодарить, в конце концов, я вас в ресторан приглашаю!

– Только не это, – засмеялась Оля. – Никаких благодарностей и ресторанов...

– Оля, любые ваши условия, как вы хотите, – опять сказал он, не в силах заставить успокоиться и выровнять свой голос, и только когда она согласилась и они через два часа встретились в условленном месте, он пришел в себя и держался свободно. Увидев его, Оля просто душно изумилась:

– Вот вы какой, оказывается! Здравствуйте, Петя. Вас же тогда увезли заросшего... распухшего... у вас тогда и лица-то не было... так, что-то запекшееся, черное... страшное... Я вас едва узнала сейчас... но узнала! – тотчас поспешила она поправиться, протянула ему руку, и он понял, что она действительно удивлена, обрадована и несколько растеряна; и в ответ ей он радостно, благодарно, открыто улыбнулся.

С Амура дул сильный и теплый ветер; они прошли парком и, увидев незанятую скамейку у самого обрыва, сели, в глазах у Оли по-прежнему не проходило удивление и какое-то ожидание. Она еще никогда не была в этом парке и не видела Амура в его предосенней, уже начинавшей слегка хмуриться мощи, но еще с ясным, очень прозрачным высоким небом и редкими белыми-белыми облаками в нем. Внизу на пляже люди загорали, по Амуру шли самоходные баржи, теплоходы, сновали буксиры. Вдали виднелась тонкая нитка железнодорожного моста; противоположный берег, неправдоподобно далекий, и еще дальше за ним туманные пространства, окаймленные еле угадываемыми сопками, и непрерывный теплый ветер, обтекающий все это немерное пространство, произвели на нее неожиданное впечатление первозданности, и у нее слегка закружилась голова.

– Как много здесь всего, ветра, солнца... всего-всего, – сказала она тихо.

– Да, много... Но неужели завтра? И билет, конечно, в кармане? Скажите, Оля, а если мы сейчас рванем в аэропорт, вы сдадите свой билет... и останетесь на пару дней?

– Это ваша благодарность? – спросила она, поворачивая к нему лицо и слегка улыбаясь.

– Чем богат, самое мое дорогое, больше у меня ничего и нет, смотрите, – широко развел руками Петя, как будто обнимая все пространство вокруг.

– Спасибо. Я просто не могу принять такой щедрый дар, мне он не по средствам. Чем я отплачу? Спасибо, Петя...

– Я ведь тоже москвич, – у Пети появилась в голосе легкая хрипотца. – Если позволите... я иногда наезжаю в Москву по делам... я бы завез вам какой-нибудь дальневосточный пустячок... нет, нет, уже совершенно материальный... Что-нибудь вроде женшенья или баночки красной икры... Хотите свежемороженого тайменя, из него получается восхитительная строганина... Зимой, разумеется...

– Вы, оказывается, романтик, и даже слишком щедрый для нашего времени, – сказала она. – Скоро вы забудете о нашей встрече вот здесь, у великого Амура. Расстанемся и больше вряд ли когда-либо свидимся. Вы, наверное, часто вот так... верите в то, что говорите? Улыбаетесь?

– Я верю в судьбу... и в себя, – сказал Петя. – Оставьте московский адрес и телефон, раз уж вам никак нельзя задержаться... Вы мне доверите ваш адрес? Да, Оля, я романтик... с экономическим уклоном. Закончил МГУ. По убеждению академика Обухова Ивана Христофоровича, имею некоторую склонность к аналитическому мышлению... Я у него работаю, здесь, в филиале... В Москве у меня дом, родные, мать...

Петя еще раз некоторое время перечислял свои достоинства и недостатки, такие, например, как неодолимая потребность к уединению и перемене мест. В ответ Оля рассмеялась.

– Что-то вы не похожи на схимника, – сказала она. – Вы так общительны... Как интересно, вы, значит, работаете у Обухова?

– Я у него самый незаменимый человек, – с невозмутимым видом сказал Петя. – Он без меня шагу ступить не может. Я же сказал, что вам со мной очень повезло! Да... а вы, Оля, знаете академика Обухова?

– О нем последнее время много спорят, – сказала Оля. – Одни считают пророком, мостом из прошлого в будущее, другие...

– Отрицают, – продолжал Петя, уловив небольшую заминку. – Это как раз и указывает на крупное явление... Оля, а вы действительно не хотите пообедать?

– У меня просто нет времени, совсем не осталось...

– Не смогу ли я вам помочь? – поинтересовался Петя, и они, помолчав, засмеялись; они в этот день обедали и разговаривали; Оля рассказывала о своей работе, о предстоящих раскопках в Крыму возле Феодосии и в районе Керчи; несколько раз и, конечно, в самый неподходящий момент Петю мучили изнуряющие приступы сухого, резкого кашля; Оля, прервав свой рассказ, вдруг спросила его, каким образом он оказался так далеко от Москвы...

– А ведь знаете, это одна из самых постыдных страниц моей биографии, – признался Петя. – Случилось давно-давно, я был еще глуп и мне хотелось самому, понимаете, самому зарабатывать и освободиться наконец от тяжелых отцовских денег. У меня здесь дядька жил... он и сейчас здесь, простой строитель... он теперь как раз эту самую двойную знаменитую Урганскую гидроэлектростанцию возводит... Ну... вот я и рванул к нему после девятого класса, устройте меня, прошу, куда-нибудь на пароход матросом... И вы знаете, Оля, позор... позор... несмываемый позор! Больше двух недель не выдержал... сбежал... До сих пор как вспомню, обжигает... Ну а знакомство, понимаете, историческая встреча с Амуром состоялась... Ну вот... потом я уже должен был вернуться на Амур и доказать... самому себе, конечно, что я могу! Это было необходимо... вы меня понимаете?

– Я – понимаю, только вы еще нездоровы, у вас даже лоб мокрый, – сказала Оля, и, когда они, наконец попрощавшись, расстались, Петя еще долго бродил по городу, иногда присаживаясь и отдыхая где-нибудь на тихой скамейке. Спал он в эту ночь плохо, несколько раз его опять начинал бить кашель, и на другой день он разболелся, почувствовал сильный озноб. Несмотря на все свои нелестные мысли о женщинах, он не хотел выглядеть слабым перед Олей и не поехал на аэродром проводить ее; он заставил себя высидеть дома до вечера, когда двадцать пятый рейс на Москву, которым улетала Оля, ушел, и отправился бесцельно бродить по городу. Сентябрь перевалил за свою половину; пронзительная, какая то сквозящая, тревожащая красота амурской осени разлилась по городу и чувствовалась во всем, и прежде всего в высоком небе, еще более отделившемся и ставшем ярче, гуще синевой; было много тяжелого солнца, игравшего в окнах домов, в стеклах проносившихся по улицам машин; казалось, солнце каким-то особым мглистым составом заполняло даже затемненные места и тупики города, солнце сгущалось и переливалось в рыжей листве деревьев, стекало с людских потоков и уходило в нагретый, душный асфальт. Петя опять чувствовал себя беспокойно, он забрел на городской рынок, шумный, залитый опять-таки тяжелым, густым солнцем, купил несколько розовых помидоров у старика-корейца, с истинным артистизмом закрывавшего от восторга темные, узкие глаза, с безволосыми красноватыми веками, нахваливавшего свой товар: «Хорсо! ох, хорсо!», сочно прицокивая всякий раз при этом языком и коротко облизывая губы. Кореец бережно положил помидоры в полиэтиленовый мешочек, и Петя побрел дальше; его тянуло в парк, на берег Амура, и он, несмотря на усталость и взмокшее от слабости тело, заставил себя пешком пройти главную улицу из конца в конец до парка. Скамейка, на которой они вчера сидели с Олей, была сплошь облеплена шумной стайкой девочек-старшекласниц, и Петя, поморщившись, прошел мимо. Ему хотелось побыть совершенно одному, и он, отыскав уединенное местечко, с наслаждением съел самый большой розовый помидор.

Петя всегда любил музыку и, наблюдая завораживающую игру ветра и солнца в осенних листьях, слышал сейчас отрывки какой-то знакомой мелодии; нежные серебристые звоны

жили, казалось, в самой игре ветра, солнца и листьев, жили в гудках теплоходов и барж, в сердце Пети, в самом городе... Но Петя думал о другом городе, о неоглядном и вечном, родившем и воспитавшем Петю, городе его счастья и надежд; он любил мучительно тот свой город и гордился им, его историей и его славой; его родной город всегда оставался самым собою, и, несмотря на упорные, непрекращающиеся попытки исказить, изуродовать, изменить его облик, его русскую физиономию, перестрадав, очистившись, всегда каким-то образом вновь возвращался к изначальной своей сути, которая была таинственна, неуловима и необъяснима, но без которой не было подлинной, глубинной жизни и присутствие которой есть сама вечная душа народа, со всеми ее взлетами и провалами.

Петя любил Москву и всегда знал, что ее подлинная бессмертная душа больше ее физической сути, что она уходит корнями к истокам души самого народа и потому бессмертна, нетленна и прекрасна; безобразные рубцы, ожоги зломыслия и откровенной ненависти, наносимые ей время от времени, никогда не достигали своей конечной цели, и Петя, вслушиваясь в музыку, слышную только ему, гордясь и страдая, полной мерой ощущая сейчас наряду с бессмертием и величием далекой Москвы и свое собственное бессмертие и величие.

Она сейчас летела в Москву, и Петя думал о Москве; он представил себя рядом с Олей, допустим, на скамейке, на своем любимом Тверском бульваре, спиной к новому зданию МХАТа, на редкость не вписывающемуся в двухэтажную старинную застройку Тверского бульвара, и лицом – чуть наискось – к Литературному институту; у Пети к современной литературе тоже выработалось своеобразное отношение: он ее без крайней нужды старался не читать. Она вопиюще противоречила даже самым элементарным законам экономики и вызывала глухое раздражение, в этом ему почему-то нравилось обвинять именно Литературный институт. Но и новое здание знаменитого театра, и Литературный институт тоже являлись частью Москвы, и он, несмотря на свое предубеждение, любил их тоже, даже на расстоянии.

Запрокинув голову, Петя смотрел на далекое, ясное этот предвечерний час, все больше сгущавшееся темной синевой небо над сопками Хекцира; вздохнув, он подумал о невидимых спутниках, несущихся в ледянистых пространствах космоса, отечественных, чужих – американских, французских, китайских, – пытающихся, в свою очередь, проникнуть в тайну жизни и бессмертия громадной, необозримой страны, и усмехнулся наивности и бесплодности мысли инженеров и конструкторов, создавших и запустивших спутники именно с такой целью. Душу России не могли понять и переменить тираны, обладавшие, казалось бы, неограниченной властью над нею, отдававшие этой задаче всю свою жизнь; они шли сквозь кровь и невероятные страдания и не приблизились к заповедной цели ни на один вершок; душа России оставалась для них тайной за семью печатями. Суетное, мелкое, злобное, обращенное во тьму, не могло постичь вечное, божественное в ее природе...

Оторвавшись от своих мыслей и подняв голову, Петя увидел перед собой старика, вернее, он даже не понял вначале, кто перед ним, мужчина или женщина – что-то среднее, не имеющее пола и возраста. Петя убрал руки со спинки скамейки, пришло ощущение, что где-то он уже видел этого старика, встречал его, вероятно, даже во сне, но все-таки встречал; сохраняя на лице спокойствие и безразличие, он еще раз окинул фигуру незнакомого взглядом. «Ну и чучело, – подумал он, стараясь заставить себя посмотреть на незнакомца с юмором. – Чего только не встретишь в смутный час природы. Где же все таки я его видел или встречал? Стоит только всплыть полузабытому детскому воспоминанию – и оно исчезнет, растает в воздухе, и все чары рассеются... Чур тебе!» Станный, от немыслимой худобы казавшийся бесплотным в своем длинном вылинявшем плаще, незнакомец, однако, выдавая признаки жизни, пожевал тонкими, бесцветными, пропадающими в густой паутине морщин губами.

– Вы позволите мне присесть, молодой человек?

– Садитесь, – ответил Петя, слегка подвигаясь и намереваясь встать и уйти, но не успел; старик, назвав его по имени и отчеству, сказал, что им необходимо поговорить, его глаза,

небольшие, под исчезнувшими, почти безволосыми бровями, странным образом приковывали к себе.

– Простите... откуда вы меня знаете?

У старика из груди вырвался не то стон, не то всхлип, очевидно означавший смех, и он, по-женски придерживая и разглаживая полы плаща, сел в подчеркнутом отдалении от Пети.

– Я вас, Петр Тихонович, знаю еще до появления на свет, – ответил он, и Пете бросились в глаза непомерно большие для лица оттопыренные уши. – Вашего отца тоже знал, смею уверить, вы на него похожи... Просто идеальное внешнее повторение... Слепой слепок...

– Ну, и батюшку моего знаете! Совсем интересно!

– Тихона Ивановича я знал, Петр Тихонович, совсем молодым, – вежливо и ровна сказал старик. – Я его знал еще в тридцать пятом году нашего столетия... Согласитесь, не многие здесь, в Хабаровске, могут этим похвастаться...

– В тридцать пятом году нашего столетия? – повторил Петя, пытаясь встряхнуться, освободиться от усилившегося ощущения нереальности происходящего. – Кто же вы? У меня мало времени... простите...

– Останьтесь, вы не пожалеете, – сказал старик, и лицо его опять пришло в мелкое движение. – Я не искал встречи с вами, так уж вышло... Я люблю приходить сюда, к Амуру... не скрою, мне не безразлична наша, казалось бы, случайная встреча. Почти не осталось времени, молодой человек, я не успею сделать окончательных выводов, вот что меня угнетает... Да, простите, пожалуйста... Яков Семенович Козловский, – представился старик, привстал, слегка приподняв выдавшуюся голову, с узкими полями, шляпу, обнажая совершенно лысый желтоватый череп. – Будем знакомы...

От неожиданности Петя пожал протянутую руку, и от ощущения, что он прикоснулся к чему-то давно уже не существующему, внутренне содрогнулся; от его хорошего настроения и следа не осталось. «Хоть что-то проясняется. Козловский так Козловский», – подумал он с некоторым облегчением, и у старика, уловившего эту перемену в настроении Пети, глаза совсем спрятались, он, словно переживая какую-то невзгоду, съежившись, молчал; Петя покопавшись в его сторону раз-другой, заметил, что на правой руке у старика на трех пальцах нет ногтей.

– Кстати, Петр Тихонович, – неожиданно подал голос Козловский, – вы слышите, какая музыка объяла мир? Амур-то, Амур... Прислушайтесь... Вечная, уносящая мелодия...

– Музыка? – поразился Петя еще одному совпадению. – Объяла мир?

– Вы любите музыку?

– В общем... да... хотя не всякую и не в любое время.

– А я всегда слышу и мучаюсь, – признался Козловский с какой-то стеснительностью в голосе, словно извиняясь, и вновь замолчал, ушел в себя; можно было бы сейчас встать и уйти, Козловский бы ничего не заметил, но Петя, сам не зная почему, продолжал сидеть и ждать; он обратил на себя любопытство двух прошедших мимо красивых, броско одетых девушек, залитых с головы до ног предвечерним солнцем; попутно они оглядели нелепую, фантастическую фигуру Козловского, что-то сказали друг другу и засмеялись, и Петя опять вспомнил Олю; взгляд Козловского он почувствовал кожей, словно к нему опять притронулось что-то невыразимо холодное и отталкивающее, из потустороннего мира.

– Слушаю вас, Яков Семенович, – сказал он, сдвигая брови. – Однако мне пора, было приятно с вами познакомиться...

– Простите, Петр Тихонович, дряхл становлюсь, – заторопился Козловский и сунул правую, изуродованную, без ногтей, руку в карман плаща. – Вы правы, ближе к делу... Минутку... соберусь с мыслями... Перенеситесь, молодой человек, в своем воображении в тридцатые годы. Мне было примерно столько же, сколько вам сейчас. Вы печтаетесь, я слежу за вашими публикациями, у вас свежее, незамутненное воображение...

– Вам и это известно?

– Конечно, я только потому и нашел вас, – сказал Козловский. – Ваши статьи, и особенно последние, в местной прессе, заставили меня разыскать вас, поспешить с окончательными выводами о жизни... я бы не стал вас беспокоить, но я скоро ухожу, совсем ухожу... Я ведь совершенно вас не знал, не думал... никогда не думал. Представьте, мелькнула мучительно знакомая фамилия... Когда вспомнил, уже не мог удержаться... от разговора, встречи с вами... вы уж, Петр Тихонович, простите, я не хотел и не хочу как-то омрачить вашу душу, мешать вам жить и здравствовать...

– Но мне действительно пора, меня ждут...

– Да-да, разумеется, я вас не задержу, Петр Тихонович. Всего несколько минут... Так вот, в тридцать шестом году, когда я работал на строительстве Зежского моторного завода (я проектировал и отвечал за водоснабжение будущего гиганта), меня, начальника строительства Чубарева и еще двоих спецов (нас так называли) арестовали. Тогда такое случилось... Ваш отец, Петр Тихонович, служил в то время первым секретарем райкома... Зежского района, я имею в виду. Кстати, вы ведь, очевидно, знаете, о чем речь? – он на секунду задержался взглядом на лице Пети и опять погрузился в свое. – Ну конечно же, знаете... Так вот, Чубарев, несомненно, крупнейший специалист, был в то время душой, нервом всего дела, без него стройку сразу, разумеется, залихорадило. И ваш отец, Петр Тихонович, тогда предпринял все возможное, чтобы Чубарева освободили, – поехал в обком, доказывал, убеждал, ручался за него своим партийным билетом. И Чубарева освободили. Дело касалось лично вашего отца, его работы, честолюбия, наконец, карьеры, он знал, что все обвинение в адрес Чубарева – абсурд, нелепость, и в конце концов добился своего. Ну, а я и те двое... Кто мы такие? Мелкая сошка. О нас даже и не вспомнили, меня освободили и полностью реабилитировали уже в середине пятидесятых... Жизнь прошла там... по ту сторону добра, и не имеет смысла... А теперь скажите, Петр Тихонович, что за человек был ваш отец, хороший или дурной? И что он привнес в жизнь, добро или зло?

– Безнравственно спрашивать об этом именно меня, – резко сказал Петя, вставая.

– Почему же? – обрадовался Козловский, заметно оживляясь; лицо у него задвигалось, пришло в сильнейшее волнение, он всем своим тщедушным телом обратился в сторону Пети; и тот, стараясь не дать прорваться в себе мелочному, ненужному, спокойно и ясно встретил взгляд Козловского; какие-то необъяснимые, больные переплетения давно отзвучавшей и канувшей в небытие жизни неожиданно связали его с судьбой старого и, очевидно, очень больного, несчастного человека, и Петя, укрепляя свою решимость оставаться спокойным и дальше, опустил глаза.

– Простате, Яков Семенович, у вас есть родные... близкие? Возможно, вам необходима какая-нибудь помощь?

– Вот мой адрес, если вы захотите со мной встретиться, – вместо ответа сказал Козловский, и в руках у Пети, против его воли, оказался небольшой, вырванный из записной книжки листок. – А жалости и помощи уже не потребуется, Петр Тихонович. Вечерами я всегда дома, знаете задыхаюсь, не переносу вечерней сырости, эмфизема, легких почти не осталось... Прощайте...

Проводив взглядом неимоверно худую, длинную спину старика, долго маячившую перед глазами, Петя задумчиво повертел оставленный ему листок с адресом и телефоном, уже было скомкал его и хотел бросить в урну, затем тщательно разгладил на колене, сложил вчетверо и спрятал в бумажник. День кончился, и небо стало гаснуть; на набережной гуляющих людей становилось больше: что-то случилось, внезапно подумал Петя, прислушиваясь к намечавшемуся беспорядку в самом себе. На сумасшедшего Козловский не похож, на авантюриста тоже... И что ему от меня надо? Отравить душу и таким образом отомстить? Как же он меня отыскал и почему именно, здесь, в Хабаровске? Надо выбросить все это из головы и забыть, решил

он, встал и, затерявшись в оживленном людском потоке, тихонько побрел к выходу из парка, поглядывая по сторонам и невольно отмечая про себя взгляды девушек. Внутренний ход мысли в нем не обрывался; ничего особенного не произошло, просто пришлось неожиданно-негаданно переступить еще одна порог жизни, думал он; вся жизнь человека состоит, пожалуй, из таких вот неожиданностей, порог следует за порогом, и человек никогда не знает, что поджидает его за очередным поворотом; и случайность, как сейчас стало ясно, может высветить жизнь совершенно с непривычной стороны, заставить душу страдать и работать. Слова Козловского об отце не шли из головы; так что же? Такова жизнь – нет полностью правых, нет полностью и виноватых.

Неделя пролетела в работе незаметно, он закончил давно задуманную и начатую статью о законодательстве по наследственному праву, подвалила и новая партия материалов из экспедиции, просчитать которые и обобщать Обухов требовал сразу же, так что дел хватало, и Петя почти забыл о Козловском. Но вот однажды, отодвинув от себя очередную заказную статью для экономического ежегодника (он анализировал последние статистические данные об изменениях в экономике Китая), он что-то заскучал и, бесприютно послонявшись по комнате, быстро собравшись, через полчаса был уже у Козловского; какие-то дежурные, расхожие фразы у него были заготовлены и тут же вылетели из головы, едва он переступил порог и встретил тусклый, безжизненный взгляд хозяина; Козловский жил в небольшой однокомнатной квартире один, и Петя тотчас почувствовал это по каким-то неуловимым признакам.

– Простите, Яков Семенович, – сказал он, поздоровавшись и не сходя с небольшого вьетнамского плетеного коврика, лежавшего у самого порога. – Я вижу, у вас недавно была уборка... у вас снимают обувь?

– Как хотите, – отозвался Козловский. – Я могу постелить газеты...

С неожиданной гибкостью хозяин и в самом деле успел взять с нижней полки старинной резной этажерки, стоявшей в передней, пачку старых газет, развернул одну из них и, нагнувшись, положил на пол; его узкая, костлявая спина под рубашкой проступила дугой, и Петя торопливо сбросил с ног туфли.

– Не беспокойтесь, освободиться от обуви всегда полезно, Яков Семенович, – говорил он, проходя в комнату и устраиваясь на указанном хозяином месте. – Ноги отдохнут...

За время с их первой встречи Козловский изменился; ожидая, пока хозяин, завозившийся с газетами, тоже сядет, Петя бегло осмотрелся. Стол под старенькой клеенкой, узкая, похожая на топчан кровать с железными гнутыми спинками, недавно покрашенная в зеленое, два стула, полки с книгами и небольшой круглый аквариум рядом с балконным окном. Козловский спросил из-за двери о самочувствии, и Петя вежливо поблагодарил.

– Я ждал вас раньше, – сказал Козловский, садясь на свободный стул, придвигая его удобнее, ближе к Пете. – Я уже думал, что не дождусь вас...

– Яков Семенович, – без обиняков прервал его Петя. – Расскажите мне об отце. Что мы ходим вокруг да около!

– Не торопитесь, Петр Тихонович, вы не то, не то думаете, – сказал Козловский, сердито оборачиваясь к Пете. – Совсем не то! Простите, я все-таки сооружу чай с вашего позволения, только чаем и держусь последнее время...

Он вышел на кухню, оставив дверь полуоткрытой, загремел чайником, зашумела вода из-под крана, и Петя почувствовал, что верно сделал, отыскав старика, и что не прийти сюда он просто не мог, от него это не зависело.

Как у любого человека его возраста, у Пети было немало тайных честолюбивых страстей, мыслей темных, пугавших подчас его самого желаний, о которых он не очень распространялся; да, он был честолюбив и вынашивал далеко идущие планы, хотя и посмеивался над теми из своих друзей, (скажем, над Лукашом, всегда считавшимся самым близким его товарищем), что очень уж беззастенчиво рвались вперед; да, он чувствовал в себе силы и возможности

для больших свершений, но так же отлично понимал, что, не пройдя необходимого пути, не выработав в жизни строгого, последовательного суждения, нельзя рассчитывать на существенный успех. Выросший и воспитанный в обеспеченной среде, в семье, где всегда горячо обсуждали самые передовые, большие вопросы, он еще и до университета стал понимать, что главное заключено не только в работе и интересах отца и матери, не в интересах их многочисленных знакомых и связях, а в чем-то объединяющем их разрозненные усилия. Став постарше, войдя в своеобразную, кипучую стихию студенчества, он, быть может, впервые впал в другую крайность – в отчаяние перед беспредельностью жизни, перед ее беззащитностью и всемогуществом. Встреча с Козловским опять всколыхнула установившееся было в нем шаткое равновесие; он никогда, даже самому себе не признался бы, что первой и самой близкой причиной его тяги к продолжению общения с Козловским был отец, культ отца, безоглядно утверждаемый в семье матерью, всегдашнее тайное желание сына стать с отцом вровень и раздражение от бессилия, невозможности достичь его уровня. Петя знал, как далеко ему до отца, он был изрядно ленив, несобран, достаточно распушен, трудности в достижении цели всегда расхолаживали его; в сравнении с отцом, с крупной целеустремленной личностью, какой был отец, он всегда остро осознавал свою несостоятельность и остро переживал это. Тайно он всегда хотел быть похожим на отца и как можно больше знать о нем, и сейчас он ожидал от Козловского чего-то совершенно нового и сокровенного, может, быть, самого необходимого для своей жизни и своего дальнейшего самоутверждения.

– Я не герой, не фанатик и даже не борец, – сказал хозяин, возвращаясь и обрывая смутные отрывочные мысли Пети. – Я был слишком обыкновенным и ничего не хочу от вас, Петр Тихонович. Заставить вас что-то переоценивать, нарушать течение вашей жизни... Ни Боже мой! Нет, нет! И если бы не ваши статьи с таким... фанфарным, мажорным блеском, мне бы и в голову не пришло искать вас... Зачем? Я свое прожил, вы только начинаете... Я не буду уверять вас, Петр Тихонович, – продолжал он все тем же ровным бесстрастным тоном, – что там, в местах не столь отдаленных, я понял высший смысл жизни... Не знаю, есть ли он вообще? Не буду уверять вас и в обратном... Когда-то один пролетарский пророк изрек: человек – это звучит гордо... Если вы верите в эту чепуху, на здоровье – верьте! Уж мне-то пришлось увидеть человека голеньким, совершенно без одежек, даже без набедренной повязки. Смею вас уверить, весьма поучительное зрелище, я и о себе тоже, понимаете, и о себе! Поверьте, и это не главное. Что ж ему, человеку, ставить в вину его природу, он лучше от этого не станет... Я, знаете ли, жил спокойно, я уже все решил для себя, природу человеческую нельзя изменить, я это знаю твердо, я и за свою жизнь никого не виню... И вот мне попадаются на глаза ваши статейки... Правда, я на них наткнулся совершенно случайно, а уж потом стал перебирать в памяти, кто ж это такой – Брюханов – и почему я на нем споткнулся? Вера, вера в них, в ваших писаниях, опять вера в нечто высокое в человеке, в его высокое предназначение, – вот что меня зацепило. Вы знаете, без смысла Бога присутствие человека в природе антигуманно, противоестественно... С такой мыслью я и сжился, и уходить с ней, мне казалось, легче... Какая разница, как ты прожил жизнь и каков ее итог, если человек обыкновенное животное, та же покорная, безгласная скотина? Все сразу и оправдано, все сразу и становится на свои места! Зачем вы, Брюханов, пытаетесь заставить поверить в гармонию и смысл в беспробудном и вечном хаосе, в естественном состоянии именно живой материи? Зачем вы обманываете себя и других... сколько же можно лгать? Вы меня понимаете?

– Простите, нет, – честно признался Петя. – Скажите, Яков Семенович, вы действительно знали моего отца? Близко знали?

– А, понятно, – кивнул хозяин и подвинулся к гостю со своим шатким стулом. – Издали видел, на митингах, на совещаниях слушал... близко лично не знал... нет, не знал, я был рядовой спец, всего лишь инженер... проектировал водоснабжение завода... Нет, вашего отца я, можно сказать, не знал, вы меня не так поняли, Петр Тихонович... Я не его буквально имел в



виду, а все его поколение победителей, они за все хватались, за Севморпуть, за беспосадочные перелеты... хотя, простите... что вы на меня так смотрите? Не торопитесь с выводами, это трагедия нашего времени... Знание вообще не признает конечных выводов, оно диалективно, оно не может останавливаться...

– Я знаю, вы должны меня ненавидеть, но отец не виноват в вашей судьбе, я вам не поверю, что бы вы мне ни говорили, – сказал Петя, словно бросаясь головой вперед в темную, бездонную дыру, давно уже его мучавшую и влекущую. – Я не понимаю вашего отношения ко мне, не понимаю смысла нашего общения... Что с вами?

Подавшись назад, Петя замолчал, не в силах оторваться от задрожавшего лица хозяина, запоздало жалея, что нечаянно, сам того не желая, переступил запретную черту и обидел старика; он хотел уже извиниться за свою резкость и уйти, но странное, неприятное сознание своего поражения, даже своей вины, заставило его лишь сильнее вдавиться в спинку стула. И Козловский, в первую минуту невыносимо обиженный, тоже едва удержавшийся, чтобы не попросить своего гостя немедленно уйти, вдруг успокоился; в его каморку пожаловал гость из другой жизни, из другой, неведомой эпохи, раскованный и совершенно свободный от необходимости скрывать свои мысли и чувства.

И лицо у хозяина еще раз задрожало, а безобразно искалеченные пальцы судорожно забегали по краю стола, затем нырнули вниз; и тогда он, попросив своего молодого гостя не обращать на него внимания, усилием воли заставил себя успокоиться и сказал, что Бог все-таки есть, и слава Богу, что это так, а не иначе...

– Бог и знание... разве не абсурд? – вздохнул Петя, решивший ничему больше не удивляться и лишь стараться сохранить ясность мысли.

– Нет, нет, не абсурд! – живо подхватил Козловский, явно обрадовавшись оживлению в разговоре. – Вот вы верите людям, отрицающим Бога, а Бог возник не случайно, он из самой природы человека возник. А значит, он нужен и он есть. Я вам больше скажу, Петр Тихонович, – и нас потянуло друг к другу не без участия Бога, для чего-то важного, необходимого была нужна наша встреча, от этого в физическом сознании мира что-то неуловимо... изменится, пусть вначале неуловимо... И я не стал противиться зову, я подчинился. Вот встретился с вами и не жалею...

– Мы с вами забредем в Бог знает какие дебри, – поежился Петя. – Я всего лишь хотел побольше узнать об отце, только и всего.

– Правильно, молодой человек! Об отцах нужно знать и тайное и явное, – сказал Козловский с тем же просветленным волнением в лице. – Всякий умный человек... ведь вы умный человек, надо полагать по вашим писаниям? Да, умный человек на все свои загадки ответ ищет и находит в отцах. Послушайте, Петр Тихонович... вот проскальзывает в ваших писаниях какая-то Русь, Россия... Забудьте об этой химере, не обманывайтесь сами и не вводите в заблуждение других. Россия давно пала жертвой чудовищного эксперимента. И уже едва ли воскреснет. Я бы мог привести тому сотни подтверждений, но я уверен, что вы и сами додумаетесь до многого... Да это, в конце концов, не важно, Россия или что то еще... Ничего вечного нет. Я хочу успеть сказать вам главное... А главное для каждого в одном – умении видеть и говорить правду. Правды боится или человек с нечистой совестью, или просто трус. Нет-нет, я не думал обвинять вашего отца, что он мог? Он всего лишь продукт своего времени... исполнитель, железная метла... Он, естественно, многого не знал, не мог знать, а вот вы сейчас, вооруженные знанием до зубов, что же делаете с истиной вы? Меня держало на свете одно: дожить до того времени, когда громко, открыто, с горечью и с достоинством скажут правду... Я ошибся, как это ни горько, я не доживу до этого, и правду о нашем времени скажут, быть может, через сто или даже больше лет... Вот вы что думаете, Петр Тихонович, может ли один и тот же человек безвинно проливать моря крови, причинять целым народам невероятные страдания и в то же время быть правым и двигать прогресс? Могут ли законы совести и морали

в просвещенном обществе истолковываться по-разному, диаметрально противоположно? Вот, допустим, если я убил человека, я – злодей, меня преследуют, судят... На меня смотрят с ужасом... меня приговаривают, я становлюсь изгоем... А вот если кто-либо другой обрекает на смерть тысячи и тысячи невинных людей, если он венчает пирамиду, если он...

– Вы имеете в виду Сталина? – спросил Петя, чувствуя, как его окутывает темная, душная волна ненависти и мрака, и вновь жалея о своем приходе сюда.

– Кого же еще, Сталина, разумеется! – сказал Козловский, еще больше съеживаясь, опадая, быстро и бессильно сжимая старческие кулачки до восковой бледности в суставах, поднося их к искажившемуся ненавистью лицу. – Не могу! Трус! Я – трус! Ничтожество! Жалкая тля! Я до сих пор не могу без цепящего страха произносить это имя... Я ведь и в Москву не смог вернуться... а я ведь москвич, я любил первопрестольную, а теперь я ее ненавижу и боюсь... смертельно боюсь! Вот я и остался здесь, на краю земли, а туда, в Москву, не посмел... Сердце сводит судорогой... Скажите, вот вы, молодые, не боитесь повторения? Шуму было много, но причины-то не устранены, об этом даже говорить не смеют. Вы что ж, думаете, в мире перевелись маньяки? Будьте уверены, очередной не замедлит явиться...

– Успокойтесь, Яков Семенович, – попросил Петя. – Какой смысл так волноваться? Было, ну было! Я вам больше скажу, я много слышал споров, много читал об этом, много думал... Ничего интересного, простите за откровенность, в этой эпохе не было. Эпоха грубого политического примитивизма, на первом плане зоологические методы борьбы за личную власть, прикрытые демагогией и удобной трескотней, все в чем-то друг друга убеждают, куда-то зовут, вместо того чтобы просто хорошо и честно работать... И никто никому не верит – значит, нужно искать трагическую ошибку где-то в самой генеральной идее. Иначе ведь ничего нельзя переменить, вот главное... вот что я пытаюсь нащупать хотя бы пока для себя... Ну, скажите, пожалуйста, зачем нам этот ваш питекантроп – Сталин? Да никому из нашего поколения он уже не интересен и не нужен...

– Переменить, правда, ничего нельзя, правда! – ухватился за подброшенную мысль Козловский. – Я вот вам наговаривал на себя, Петр Тихонович... Нет на свете человека, не тоскующего о продолжении, всего лишь закономерность человеческой природы... Я один, совершенно один... Скоро уйду, совсем уйду, никого после себя не оставляю, ни одного дорогого существа...

– Яков Семенович... Ну успокойтесь, пожалуйста!

– Хорошо, не буду, – тотчас, с какой-то опять-таки судорожной поспешностью согласился хозяин. – Я хотел лишь одного – оставить после себя нечто глубоко выстраданное, вот и разыскал вас. Нет нет, не решайте сразу. Я прошу вас, Петр Тихонович, выполнить единственную мою просьбу... вот сейчас, сейчас... вот, вот, минутку, – торопливо говорил он, в то же время извлекая откуда-то из ящика стола небольшой плоский сверток. – Вот, Петр Тихонович, возьмите, здесь моя жизнь... Как она есть... И вы тогда решите, возможно ли одному и тому же человеку быть одновременно и виноватым и правым... Вот вам груз целой жизни... Вы только обещайте мне никогда никому не отдавать этого, не выбрасывать, не уничтожать... Обещайте же!

– Нельзя так волноваться, Яков Семенович, – стал успокаивать его Петя. – Как же я могу обещать? Да и не надо мне ничего. Поберегите себя... Мне не нравится ваше состояние... Давайте вызовем врача, неотложку?

– Нет-нет, обещайте! – испугался хозяин. – Вы должны! Врача, неотложку не нужно, я привык к одиночеству, сам справлюсь...

– Ну хорошо, хорошо, обещаю, – заторопился Петя, опасаясь, что старику станет совсем худо и жалея его. – Только...

– Ни слова, ради всего святого! – остановил его Козловский. – Идите же, идите... И давайте условимся, Петр Тихонович, – добавил он, и лицо у него остановилось, одеревенело,

губы съезжились и сжались. Позвоните мне дня через четыре, а еще лучше – загляните... Дня три меня дома не будет, я хочу в Благовещенск съездить... у меня там дело... я должен... Ну... прощайте же!

Петя.. ушел со странным чувством неуверенности и ненужности этой встречи; дома он заглянул в почти пустой холодильник, зажарил яичницу, поел, задумчиво прочитал очередное письмо из Москвы; Лукаш до небес превозносил последнюю статью Пети и требовал присылать еще, и Петя, отложив мелко и четко исписанный Лукашом листок, несколько отмяк. Сверток, принесенный им от Козловского в грубой помятой оберточной бумаге, неумело перетянутый несколько раз шпагатом, лежал тут же, на другом конце стола, и Петя поймал себя на мысли, что не хочет и боится разворачивать его; с иронической усмешкой к себе из-за своих переживаний по поводу этой почти мистической встречи он решил позвонить Лукашу, разрядить гнетущее настроение, но Лукаша не оказалось дома. В окнах синел подступивший вечер; он стал вслушиваться в непрерывный, живущий и в массивных стенах старинного, купеческой постройки дома вечерний шум города. «Не будь трусом, – внезапно отчетливо сказал он себе. – Сейчас же посмотри, что там, в этом свертке, почему он такой тяжеленный, трус несчастный, посмотри! Зачем же скоморошничать перед самим собой?»

Решительно разрезав старый, измочаленный шпагат, он развернул слой бумаги, за ним еще один и еще; в руках у него оказалась тяжелая, желтовато-бледная, гладкая металлическая пластина. Он перевернул ее другой стороной, и на лице у него появилась недоверчивая улыбка. Перед ним был женский портрет, вернее всего лишь нежное девичье лицо какой-то неизъяснимой прелести; чем больше он всматривался, стараясь понять, каким образом сделан портрет, тем яснее и реальнее проступало лицо девушки, оно как бы увеличивалось и приближалось; ему даже показалось, что черты лица на портрете напоминают Олю. «Ну, это уже совсем какая-то мистика», – подумал он и осторожно опустил неожиданное приобретение на стол, затем поставил портрет, прислонив его к стене; скорее всего это был отзвук далекой трагедии, решил он, шагая из конца в конец по комнате, вслушиваясь в затихающий на ночь город, время от времени подходя к столу с портретом, открывая в нем новые подробности и всякий раз чувствуя душевное успокоение.

Он лег спать с твердым намерением при первой же возможности вернуть Козловскому портрет; он не мог принять от незнакомого человека столь дорогой реликвии, да и старик, вероятно, уже одумался, и, возможно, уже сам жалеет о своем непонятном порыве. Несколько дней промелькнуло в работе; Петя тщательно просмотрел готовую рукопись Обухова «Экология и гидроэлектростанции», провел сравнительный анализ на основе имеющихся данных и сам был озадачен результатами изъятия из хозяйственного оборота громадных площадей: лугов, леса, пашни; он было уже и забыл о странном знакомстве в парке над Амуром, если бы не портрет. Возвращаясь домой, он, присаживаясь к столу, снова и снова всматривался в ставшие уже привычными и необходимыми за прошедшие дни нежные девичьи черты. Кто она, думал он, эта женщина, с такими совершеннейшими чертами лица, – мать Козловского, невеста? А может быть, просто некий идеал, утешавший и мучивший его всю жизнь?

Наконец, в один из хмурых октябрьских дней он собрался, тщательно завернул портрет в пергаментную вошеную бумагу, положил в портфель и отправился по знакомому адресу. На звонок сразу же, точно ждали его прихода, открыли, и он, хотя уже понял, заставил себя шагнуть через порог. Несколько человек, все примерно в одном преклонном возрасте и, как ему показалось, на одно лицо, тихо переговаривавшихся до его прихода между собой, повернулись к нему. Неуловимый, специфический запах *ухода*, всегда присутствующий в помещении с покойником, охватил Петю; помедлив, не произнося ни слова, ничего не объясняя, он во всеобщем молчании подошел к гробу, стоявшему на двух тумбочках в углу, у самого окна, и горло у него больно задергалось. Лицо Козловского разгладилось и успокоилось, черты стали крупнее и резче, выражение приобрело значительность. Покойник уже был одет и приготовлен,

в ногах и на сложенных на груди руках лежали неяркие осенние цветы, в углу, прислоненная к стене, стояла крышка гроба и рядом – большой жестяной венок с черными лентами.

– Когда? – спросил Петя глухо, ни к кому в отдельности не обращаясь, не поворачивая головы и не отрываясь от лица покойного.

– Вчера, – ответил ему слабый, надтреснутый голос. – Завтра с утра хоронить... в десять часов автобус... А вы, молодой человек, простите, кем ему приходиться?

– Никем... просто знакомый.

– Спасибо, что пришли, почтили память, – сказал низенький седой человечек со слезящимися глазами, суетливо ищущий что-либо поправить рядом с покойником, и все вежливо помолчали. Петя остался стоять у гроба в горестном недоумении, его никто не трогал, никто к нему не обращался, о нем точно забыли; собравшиеся снова стали тихонько переговариваться между собой, делились воспоминаниями о покойном, и Петя постепенно начал различать их голоса, теперь уже окончательно привыкая к случившемуся. Низенький со слезящимися глазами угомонился наконец и, уже не находя ничего, что бы можно было поправить вокруг, сел в уголок, и к нему, пододвинув стулья, пристроились остальные трое, и какое-то время длилось особое молчание, охватывающее живых только возле покойника. Чувствуя себя в высшей степени неуютно, Петя хотел уйти – и не мог, что-то удерживало его; в комнате копились сумерки, ползли по углам. Отыскав глазами свободную табуретку, Петя тоже сел неподалеку от стариков, и опять на него никто не обратил внимания. «Очевидно, так и положено, – сказал себе он, – сидеть возле умершего и молчать. В этом что-то есть. Коричневые душные сумерки... ощущение пропасти, невероятная даль души... Так в свое время будет и со мной, и те, кто придут и вот так же сядут рядом, еще сейчас мне и незнакомы, и неизвестны... Кто же они будут и зачем придут тогда, когда меня уже не будет?»

Петя прикрыл глаза; и сам он, и комната, и покойник, и Хабаровск, и далекая Москва, и весь мир – все куда-то неостановимо уносилось в зыбком, сквозящем пространстве, и он опять подумал, что уже больше ничего не будет – ни света, ни Оли, ни ощущения прохладной, нежной кожи ее рук; вот так, очевидно, уходят миры и кончаются фантазии человека о самом себе. В это время кто-то из стариков, отрывая его от тягостных мыслей, сказал негромко:

– Вот и еще один из нашего скорбного братства отмучился... наш Яша отмучился... Не верится, братцы, он ведь по душе всех нас моложе и щедрее...

Петя оглянулся, но определить говорившего не смог; старики опять уже сидели сосредоточенно и молча; затем все тот же низенький со слезящимися глазами, оправив на себе ворот рубашки и узел старенького заношенного галстука, пробежал беспокойными сухими пальцами по пуговицам пиджака.

– Почему отмучился? – с обидой обращаясь к высокому, с невероятной величины нависшими, седыми бровями, почти закрывающими глаза, спросил он. – Яша среди нас, может быть, единственный еще умел радоваться жизни и хотел жить... Он язычником был... проказник!

– Смех сквозь слезы, – пробурчал высокий.

– Знаешь, Виталий, я не говорил, до сих пор не могу опомниться, меня оторопь берет, – сказал низенький. – Яша и умер по-своему, только он один мог так хлопнуть дверью... Сижу я позавчера за инструментом, что-то нахлынуло на меня, вспомнилась наша Черная Речка... стучится в сердце, стучится, какая-то мелодия рвется... А тут внучонок прибегает, тебя, дед, к телефону срочно... Яша требует... У меня в семье его все Яшей звали... Беру я трубку и слышу: «Ты, – говорит, – Андрей, обязательно завтра утром приходи, я тебе сюрприз приготовил... у меня, – говорит, – дверь открыта, ты и заходи без звонка... Я слово с тебя беру... завтра ровно в десять». И положил трубку. Мне вроде и недосуг, и чувствовал я себя скверно, а как не прийти? Он у нас ведь за генерала в нашем колымском братстве... да и потом, совершенно один на свете, души близкой нет... Вот и приезжаю, сын ехал в свою контору, меня попутно подбросил... Звоню – молчит, опять звоню – опять молчит. Толкаю дверь, она и не заперта.

Я и вспомнил сразу, не звони, говорит, – просто заходи... Вхожу, а он лежит на кровати... в костюме, в ботинках... при галстук... а в головах букет гвоздик в кувшинчике... Руки на груди сложены, а в руках запечатанный конверт, вон он, сейчас возле аквариума на окне... Адрес московский... Надо не забыть, опустить потом в ящик... «Ну, Яша, – говорю, – хватит дурачиться... зачем ты меня звал-то?» Говорю, и вроде не я это говорю... сам-то понял... и зачем звал, понял, и какой сюрприз приготовил – понял... остановиться, же не могу... захотелось мне лечь рядом, закрыть глаза и больше не вставать...

– Яша – личность, по-своему и умер, – сказал еще кто-то, сидевший от Пети дальше всех и положивший подбородок на круглый набалдашник суковатой массивной палки. – Один из всех нас не побоялся смерти в глаза смотреть... А как он песни нашего братства пел...

Низенький со слезящимися глазами задавленно всхлипнул – и тотчас послышался тяжело отдавшийся стук палки в пол, и тот же голос, теперь уж окрепший, властно произнес:

– Ты, Андрей, не смей сырость разводить, давай нашу колымскую...

Вначале еле слышно послышался напев, один какой-то суровый, скорбный непрерывный звук, и Пете вначале показалось, что зародился он где-то вдали, а не в этой тесной и душной комнате, переполненной сейчас прошлым. Старики пели со стиснутыми губами, и звучание этой песни без слов все усиливалось, начинало казаться, что глухой, задавленный, непокорный мотив пробивается откуда-то из-под самой земли.

## 9

Прилетев, через несколько дней в столицу, Петя первую неделю ни о чем, кроме дела, не думал и не вспоминал, мотался по главкам и министерствам, по институтам и управлениям, подстерегая и вылавливая нужных людей, часами торчал в приемных и обольщал секретарш, рассказывая им дальневосточные байки, приправленные балычком и прочими дальневосточными деликатесами; с его молодостью и внешностью нравиться всем было нетрудно. Имя академика Обухова тоже действовало; одни, втайне ему сочувствуя, помогали, другие, ненавидя, не хотели связываться, третьи делали вид, что вообще не знают ни о каком Обухове и его идеях, но так как экология становилась все более модной, то и третьи, четвертые и даже десятые, представляющие себе эту самую модную ныне экологию вполне материально, прежде всего в виде закрытого министерского пайка, обязательно с красной и черной икрой, с осетровым, а еще лучше – стерляжьим балычком и непременно с копченым лосиным языком, а то лучше и губами, тоже не хотели прослыть ретроградами и если не помогали, то и не мешали. Петя почти физически ощутимо чувствовал, как порученное ему дело медленно и громоздко переползает из инстанции в инстанцию, скрипит, гроыхает, постанывает, согласуется, обрастает вопросительными, отвергающими и разрешающими резолюциями, перебрасывается со стола на стол, из кабинета в кабинет, из главка в министерство и наоборот; только теперь Петя понял, какому беспощадному наказанию подверг его, любя и доверяя, академик Обухов, поручив умереть, но сдвинуть с мертвой точки дело с вычислительной машиной.

Как-то перед вечером, проводив Лукаша, заскочившего как всегда неожиданно поболтать, а заодно вытянуть очередную идейку или, в худшем случае, статью, Петя раздумывал над тем, не обратиться ли ему за советом и помощью к отчиму, мучительно раскладывая все «за» и «против». Время от времени настойчиво и подолгу начинал звонить телефон; Петя и слышал и не слышал его, думая о своем; телефон зазвонил опять, Петя машинально взял трубку и, едва услышав голос, тотчас весь подобрался.

– Вы... невозможно поверить... что это вы... я вас сразу узнал, – сказал Петя каким-то незнакомым низким, хриловатым голосом. – Здравствуйте, Оля... Я звонил, я просил Анну Михайловну передать... Хорошо, просто замечательно... мне необходимо вас видеть... Сейчас, можно сейчас? Ну, давайте через час у Пушкина?

Напряженно прислушиваясь к молчавшей трубке, он задержал дыхание; какие-то несколько секунд решали нечто очень важное. Трубка долго молчала, и наконец он услышал тихий, несколько неуверенный ответ:

– Хорошо, Петя, я приду.

– Я буду ждать, – возбужденным голосом, забывая о сдержанности, прокричал он в трубку и некоторое время стоял посреди комнаты с сильно бившимся сердцем, затем стал торопливо собираться. Пока он брился, выбирал рубашку, галстук, то и дело поглядывая на часы, волнение его все возрастало. И только уже выходя из метро и еще издали увидев, вернее, каким-то шестым чувством выделив ее среди других, одиноко стоящую несколько в стороне, в светлом легком плаще, с непокрытой головой, он испытал странное чувство облегчения. Она пока не видела его, и он, замедлив шаги, не отрывая от нее взгляда, несколько минут за нею наблюдал; она по-прежнему отрешенно стояла в голубовато-прозрачном луче фонаря, и толпа обтекала ее. Он точно определил момент, когда она должна была почувствовать его и оглянуться, и, встретив взгляд, озаривший ее лицо каким-то ясным и трепетным светом, тотчас понял, что все ожидаемое им от этой встречи свершилось. Петя не стал ей ничего говорить; слов, способных передать охватившее его чувство, он не знал, их, очевидно, просто не было, и он стоял и молча смотрел.

– Здравствуйте, Петя, – сказала она.

– Спасибо, Оля. Вы позвонили... позвонили! Но как вы угадали, что я приехал? – спросил он и, тут же забывая о своих словах, взял ее за руку, и они куда-то пошли, ничего не видя и не замечая вокруг, хранимые особой силой и энергией, свойственной именно влюбленным, окутывающим их невидимым, но ясно осязаемым покровом, отводящим от них все тяжелое, все ненужное и мешающее. Взявшись за руки, они пошли вниз по Тверскому; они сейчас видели и чувствовали совершенно одинаково; встретив старую, очень старую женщину в жакете с меховым воротником, очевидно, мерзнувшую и в теплую погоду, они тотчас погрузились, увидев и себя через много лет; они посторонились, встретив молодую мать с колясочкой, и опять подумали об одном и том же, и Оля, попытавшись убедить себя в необходимости думать независимо, отдельно от Пети, не смогла этого сделать. «Так нельзя, – тотчас сказала она себе, – ведь я совершенно ничего о нем не знаю. И встретились мы случайно, и позвонила я ему случайно, я ведь о нем совершенно до этого часа не думала и не вспоминала... И действительно, почему я ему позвонила, что меня толкнуло? Просто какое-то наваждение, надо немедленно приказать себе остановиться и серьезно во всем разобраться, заставить себя подумать»

Что-либо изменить было уже совершенно невозможно, и то, что они не могут остановиться, ясно отразилось на их лицах, и встречные понимали это и завидовали им. Они по-прежнему ничего не замечали вокруг, и лишь Петя, случайно подняв голову, увидел в просвет между деревьями далекую луну.

– Смотри, Оля, луна! – поделился он своим открытием с девушкой, и она тоже изумилась, постояла, приподняв голову, и, ощущая в сердце какую-то звенящую, счастливую струну, призналась:

– Знаешь, я совершенно ничего не понимаю...

– Я тоже, – сказал он; не разнимая рук, оба безумно рассмеялись.

В пору душевного озарения, длившуюся день, второй, третий, Пете в ожидании еще большего счастья все удавалось; время словно исчезло, он не замечал его, дни и ночи смешались; он жил какой-то переполненной, захлестывающей его, изнуряюще-полной жизнью. Лукаш все-таки втянул его в одну из дискуссий в журнале и часто звонил, торопя с очередным материалом; Петя сразу стал всем нужен, родные тоже отмечали в нем перемены к лучшему, и лишь Аленка, в редкие минуты встреч улавливая в глазах сына неестественно острый блеск, тревожно приглядывалась, спрашивала о самочувствии, и он, в свою очередь, лишь недовольно вскидывал брови; Аленка всякий раз неловко умолкала, сын теперь даже ее вопроса не мог понять. И все-таки, не забывая о глубоком нервном срыве, случившемся с сыном после первой любовной трагедии, она заставила его однажды спокойно посидеть и выслушать ее; шутливо, как бы вскользь, она заметила, что у мужчины есть и еще одна, может быть, главная обязанность в жизни по улучшению и обустройству мира, и что он правильно поступил, согласившись наконец вернуться в старую отцовскую квартиру, и что силы надо уметь распределять разумно; Петя, казалось бы слушавший ее вполуха, засмеялся, сверкнул белыми, ровными зубами.

– Я вижу, куда ты гнешь, мать, и наука тебе впрок не пошла, – сказал он, – только ведь ничего не выйдет, прошлое никогда не возвращается и не повторяется.

– Ты уверен?

– Абсолютно! – бодро отозвался он, вскочил и, обойдя кресло с матерью, обхватив ее сзади за плечи, в порыве нежности потерся подбородком о ее затылок. – Знаешь, мать, я сейчас так всех люблю, мне кажется, мое нынешнее и незаслуженное счастье – сон. Вот проснусь я и – обрыв, сон кончится. Ольга об этом знает, она понимает меня, мы решили пока не регистрироваться. Подождем с год... Так, на всякий случай, чтобы потом не разочаровываться.

– И Ольга этого хочет? – спросила Аленка с некоторым сомнением. – Год! Бесконечно долгий срок, особенно для девушки в вашем возрасте. Я бы не стала медлить. Уверена, ты намудрил, твои фантазии.

Петя недовольно засопел, отошел, и она, повернув голову, увидела его сдвинутые брови.

– Я подумаю, – быстро сказал он в ответ на ее взгляд.

– Подумай, Петя, подумай, – опять слегка улыбнулась Аленка. – Оля, очевидно, в самом деле тебя любит, если, согласилась ждать целый год. Я очень рада за тебя. Учти, Петя, она будет тоже ведь узнавать тебя лучше и лучше...

– Что ты имеешь в виду?

– Я? Совершенно ничего, – отозвалась Аленка. – Я рада за тебя, ты вытащил счастливый билет... Не упусти же его... И потом, было бы нелишним нас познакомить...

– Успеется, дай нам самим разобраться.. Мне ведь надо еще поработать в Хабаровске, у Обухова...

– Забери с собой Олю, там тоже нужны археологи...

С вечным превосходством молодости, уверенный в себе, Петя не спал отвечать, тут же забывая о ее словах; Аленка по-прежнему с какой-то неосознанной тревогой за него (ни его победный вид, ни его слова не убеждали ее) неприметно вздохнула.

– Опять бутылок на кухне собралось, – обронила она словно бы невзначай.

– А, ерунда, ребята с факультета забежали, пива принесли, – недовольно поморщился Петя. – Мы с Лукашом над одной статейкой посидели... Слушай, мать, ты же умный человек, кончай за мной шпионить, ты-то должна понимать, пеленки и распашонки давно кончились, перед тобой не дети – взрослые люди... Зачем отравлять жизнь себе и другим? Расскажи лучше, как у тебя? Что с книгой? У тебя грандиозная проблема... Если ее удастся пробить... Хочешь, я познакомлю тебя с Вергасовым? Это как раз по профилю нашего журнала...

– Ты мне зубы не заговаривай! – отказалась она. – Вергасова я и без тебя знаю, когда надо будет, сама с ним познакомлюсь. Ты лучше скажи, когда меня с Олей познакомишь?

Петя опять отделался шуткой, и Аленка ушла, ему действительно ни с кем не хотелось делиться Олей, его все больше охватывала потребность ежедневно видеть ее, разговаривать, быть рядом, ощущать ее дыхание, запах волос, кожи, все больше узнавать подробности ее жизни, слушать ее рассказы о прожитом дне; он, все настойчивее приглашал Олю к себе домой, она так же настойчиво отказывалась. Рассердившись, он как-то бросил:

– Ты боишься... меня?

– Значит, плохо приглашал, – ответила она, и глаза у нее из серых стали темными, провальными. – А ты сам не боишься?

Молча пройдя несколько кварталов, ничего не замечая вокруг, они вошли в массивный серый дом постройки тридцатых годов с внушительной, на три этажа, аркой, лепниной и прочими архитектурными излишествами, миновали пожилую привратницу, приветливо поздоровавшуюся с Петей, профессионально цепко, запоминающе скользнувшую взглядом по лицу Оли. Просторный лифт с зеркалами в медных рамах поднял их на четвертый этаж, и Петя, повозившись с замком, открыл тяжелую высокую дверь, неожиданно легко и беззвучно распахнувшуюся. «Кто он и зачем? Что я делаю?» – спросила Оля себя, встречая его горячий, нетерпеливый взгляд.

– Подожди, – почему-то шепотом сказал он, одним неуловимым гибким движением подхватив ее на руки и сильно прижав к себе; неслышно ахнув, Оля крепко обняла его, и теперь его глаза были совсем рядом, она ощущала лицом его прерывистое дыхание. Он поцеловал ее, шагнул через порог, движением плеча захлопнул дверь и опять поцеловал. И она, отдавшись во власть его рук, его нетерпения, ни о чем больше не думала, не могла думать; ее поразило его лицо, странно застывшее, с неподвижными, устремленными куда-то мимо глазами; в безотчетном порыве она, осторожно касаясь, стала целовать его глаза, руки.

– Скажи, что сделать, чтобы тебе было совсем хорошо? – прошептала она. – Совсем, совсем хорошо?

Он взял ее за плечи, заставил лечь рядом; от ощущения ее прохладного, податливого тела у него нарастало желание.



– Ты лежи, ты у меня в гостях, – сказал он, быстро вскакивая. – Хочешь соку?.. Апельсиновый... У меня вино есть... бутерброды... с сыром...

– Только соку... или воды, пить хочется...

Он встал, высокий, гибкий и тонкий, с наслаждением, до хруста в суставах потянулся всем красивым, соразмерным телом, и она сквозь полусомкнутые ресницы еще и еще ощущала его взглядом, любуясь; на потемневшем массивном подносе, оставшемся от отцовских времен, он принес сок в высоком, запотевшем стакане, бутылку вина, сыр и хлеб; сейчас каждое его движение, каждое сказанное им слово отзывалось в ней обожанием, желанием в нем раствориться, принадлежать ему каждой клеточкой своего тела.

– Ешь, – сказал он, пристраивая поднос на кровать. – Я тебя больше не выпущу... не пытайся протестовать... Ешь...

– Смотри не пожалей, – пригрозила она почти серьезно. – Ой... есть как хочется...

Петя поднял фужер с вином.

– Ну, здравствуй!

– Здравствуй...

Не обращая внимания на звонивший телефон, они быстро прикончили сыр с хлебом, и Петя вновь отправился на поиски еды, заглянул в холодильник, затем в кухонные шкафы; в буфете в гостиной отыскалась давно кем-то начатая и забытая коробка конфет и несколько ссохшихся в камень пряников.

– Сюда никто не может войти? – неожиданно спросила Оля, неотступно ходившая следом за ним. – Здесь нет еще одного выхода? Такая ужасно нелепая квартира... слишком большая... я таких и не видела. Сколько книг! Кто же столько может прочесть?

– Старое отцовское гнездо... отец был в ранге министра, – сказал он, обнимая ее за плечи и слегка прижимая к себе. – Больше половины здесь – справочная литература. Для работы... у отца – оборона, металлургия... У матери – медицина, у меня – экономика, философия, социология... Я тоже не люблю здесь теперь бывать... пепелище... У нас было по комнате на человека... это считалось нормально для положения отца... Так что квартира была не слишком большая для отцовского уровня, кстати, за мной сейчас остались две комнаты – вот эта и отцовский кабинет с библиотекой. После его гибели все раскололось... что ты на меня так смотришь? Большая половина квартиры – у сестры с зятем. Они – в Париже... Вот та комната, гостиная, тоже им принадлежит, но сестренка просто не заперла ее, гостиная, она всегда у нас была общей площадью...

– Какое-то безумие... никогда со мной подобного не случалось, – сказала она и вновь потянулась ему навстречу; так прошел день, ночь, улучив момент, когда Петя отправился в магазин купить какой-нибудь еды, она позвонила тетке и на работу, сказав первое, пришедшее на ум, сообщила, что у нее бюллетень, думая вовсе не о работе и не о тетке, а о том, почему так долго не возвращается Петя. Встретив его на пороге с тяжелой хозяйственной сумкой в руках, повисла у него на шее; так и проскочил угарный остаток недели; они не отвечали ни на телефонные звонки, ни на звонки в дверь (кто-то раза три или четыре приходил и настойчиво звонил); Оля ушла с истончившимся лицом, с огромными беспокойными глазами, и Петя, вымыв посуду, кое-как прибрал свою комнату, попытался читать, но тут же бросил. Спать он тоже не мог и, присев к столу, часа за два набросал черновик давно задуманной статьи, правда, остро дискуссионной, о праве наследования при социализме, о плюсах и минусах существующего законодательства в данном вопросе; он увлекся, стал более тщательно, пункт за пунктом прорабатывать и обосновывать положение за положением и спохватился лишь к вечеру. В окнах уже сгущалась синева, телефон молчал. Беспокойно похаживая по гостиной, прислушиваясь и поглядывая на телефон, он быстро подошел к нему и решительно снял трубку. Набрал номер и услышав голос Оли, помедлил.

– Петя, ты? – услышал он ее далекий и грустный голос. – Прости, никак не могла позвонить... Это было ужасно, с тетей истерика... Петя, слышишь, ты меня не оставляй, будь со мной. Я тебе позвоню... Я сегодня не смогу прийти...

– Почему? Что, ну скажи, что?

– Ужасно, мне ее так жалко, она ведь старая и совсем больная, – говорила Оля, понизив голос. – Ты не представляешь, что мне пришлось вынести... Я тебя люблю, слышишь? – перешла она на шепот. – Больше не могу говорить, завтра в семь у тебя... Слышишь?

– Ага, не очень там давай себя терзать, – сказал он. – Тетка свое отжила, жду.

Положив трубку, он побрился, с наслаждением постоял под прохладным душем и, надев лучший свой костюм, светлый, спортивного покроя, через час уже был в небольшой прихожей перед Олей, обтянутой стареньким тренировочным костюмом, с мокрой тряпкой в руках.

– С ума сошел! – сказала она ему тихо, с нестерпимо вспыхнувшими и засиявшими глазами. – Уходи! Что ты наделал! Ты не представляешь, что сейчас начнется!

– Кто пришел? – раздался низкий, страдающий женский голос. – Ольга, кто пришел?

– Я сейчас, тетя, – отозвалась девушка, по-прежнему не отрывая от Пети взгляда. – Это... Это...

– Ваш новый родственник, Анна Михайловна, – громко сказал он. – Здравствуйте... можно войти?

На пороге в прихожей появилась невысокая седенькая женщина с нахмуренным воинственным лицом, с обмотанным в виде чалмы полотенцем на голове; она решительно обошла вокруг Пети, оглядывая его с головы до ног, как-то по-птичьи склонив голову, всем своим взъерошенным видом напоминая растревоженную, спугнутую с гнезда птицу. Неуверенно улыбаясь, Петя поворачивался вслед за нею, готовый ко всему, ко всякой неожиданности.

– Ольга! Брось же тряпку! – потребовала Анна Михайловна, обратив свой гнев на племянницу. – Приглашай гостя проходить, приведи себя в порядок и ставь чай! Мне тоже надо чуть-чуть взбодрить себя... простите, очень болит голова... давление подскочило под двести... Вам, к счастью, этого не понять... Надо полагать, вы и есть герой романа... тот самый Петя?

Удовлетворившись согласным кивком гостя, Анна Михайловна повела его в комнату, чуть ли не насильно усадила в старенькое кресло в углу и, забыв о голове, о давлении, о своем намерении взбодрить себя, остановилась напротив новоявленного родственника, скрестив руки на груди.

– Вот вы, значит, какой гусар, – сказала она теперь уже иным, потеплевшим голосом.

– Я люблю Олю, – сказал он, чувствуя себя под ее взглядом не слишком уверенно и даже начиная жалеть маленькую женщину за ее внутреннее смятение и боль, прикрываемую бодрым голосом, и проникаясь невольной симпатией. – Мы любим друг друга, Анна Михайловна... вы должны понять... не сердитесь на Олю...

– Вот, вот, вот, – перебила Анна Михайловна. – Любим, и все! Как будто до вас никто никогда не любил! Вы же не в пустыне, вокруг вас живые люди, изношенные, больные сердца...

– Анна Михайловна...

– Тетя, ну пожалуйста...

– Вот, вот, вот, именно старые изношенные сердца, – со злорадной настойчивостью повторила Анна Михайловна. – Было время, юноша приходил в дом родителей девушки, знакомились... а сейчас все где-то происходит, на этих ужасных массовках, в этих чудовищных дискотеках, немыслимая, отвратительная стадность... Массовый балдеж... Слово-то какое ужасное! – с удовольствием подчеркнула новое для себя словечко Анна Михайловна. – Ольга, что же ты?

– Иду, тетя, иду, сейчас заварю чай, – донесся из полуоткрытой двери в кухню голос Оли.

Тотчас появившись, она набросила на стол свежую скатерть, поставила расписные пузатые фарфоровые чашки; Анна Михайловна стала помогать ей и в ответ на возражение Пети вновь перешла в наступление, решительно заявив, что где-нибудь на своих ужасных массовках они могут поступать как угодно, а в порядочном доме все должно идти прилично. Когда сели за стол, Анна Михайловна, перехватив взгляд племянницы, вспомнила о полотенце, обмотанном вокруг головы, и ушла приводить себя в порядок; Петя, покосившись на дверь, придвинувшись к Оле, легонько прижал ее к себе, поцеловал; они улыбнулись друг-другу, как заговорщики, окончательно развеселились.

– Петя, скажи, о чем ты сейчас думал? – спросила она, удерживая себя от желания взять его за руку.

– Знаешь, я неожиданно вспомнил, как увидел тебя в первый раз...

– Как странно, я тоже об этом сейчас подумала, – призналась она, и в ее голосе ему послышалось что-то чужое, даже отстраняющее.

Появилась Анна Михайловна, совершенно преобразившаяся, в темном строгом платье с глухим высоким воротом, причесанная, с сережками в ушах и старинной камеей, извлекаемой на свет только в самых торжественных случаях. Анна Михайловна даже слегка подкрасила губы, напудрилась и помолодела. Маленькая, взволнованная, торжественная, она села на свое место, придвинула к себе чашки и стала разливать чай. Петя молча взял чашку; Оля, чему-то своему улыбаясь, тоже задумалась, и за столом установилась тишина; Анна Михайловна помедлила, пытаясь овладеть положением, зорко взглянула на племянницу, затем на гостя (не поссорились ли здесь во время ее отсутствия?) и сказала:

– Прошу, вот варенье... малиновое, свежее, мне подруга привезла с дачи... Вы любите, Петя, малиновое варенье? Ведь мне можно так вас называть?

– Конечно! – обрадовался он, и в душе у него опять шевельнулось теплое чувство к чуткой маленькой женщине, смотревшей на него с таким доверием и грустью.

– Я на вас, Петя, еще не видя вас и ничего о вас не зная, ужасно рассердилась, – продолжала Анна Михайловна. – Я понимаю, как это несправедливо, но и вы должны меня понять... Откуда-то появляется разбойник, молодец – косая сажень в плечах и грабит посреди белого дня! Забирает единственное, самое дорогое! Каково? Я понимаю, молодость эгоистична, так уж устроена жизнь... Однако что же я? – встрепелась Анна Михайловна. – Вот вам пример, старость тоже не хочет смириться, хотя ей ничего другого и не остается... вот, вот... вот...

Искренне огорчившись за неумение сдержаться, Анна Михайловна совсем по-детски расстроилась, стала оправдываться, и Петя, выручая ее, попросил еще чаю, затем сказал:

– Мне кажется, Анна Михайловна, мы с вами станем друзьями... вот увидите!

– Дай Бог, дай Бог! – еще больше оживилась хозяйка и, совсем уже растрогавшись и не желая себя сдерживать, подхватила, обошла стол и чмокнула Петю в затылок. – Дай Бог! – повторила она, возвращаясь на свое место. – Вы, Петя, должны знать, Ольга – вся моя жизнь, больше у меня ничего нет и не будет... Так уж получилось...

– Анна Михайловна...

– Погодите, Петя, погодите, – остановила Анна Михайловна, – я просто объясняю. Ольга выросла у меня... Ее отец, мой единственный брат, и мать Ольги ушли из жизни почти в один год... правда, брата так уж отделала война, живого места не было... Вот она у меня и осталась на руках, а было ей чуть больше годика... Из соски кормила.

– Тетя, ну зачем? – попыталась остановить ее Оля. – Опять расстроишься, поднимется давление, состряпаешь себе неотложку, бессонную ночь...

– Я своего брата обожала, красавец, не в пример мне, высокий, сердце золотое... Инженер-строитель, на войне саперами командовал... Знайте, Петя, если вы Ольгу обидите, вам не будет прощенья! Сироту грех обидеть...

– Тетя!

– Ну, молчу, молчу, – как-то испуганно и покорно кивнула Анна Михайловна, чувствуя подступающую усталость. – Простите... Ну, день такой особенный, вот и понесло, понесло...

– За что же прощать, – рассудительно сказал Петя, чувствуя себя необычайно хорошо и уютно. – Мне тоже вам надо много важного рассказать... Это ведь так естественно, у меня вот тоже что-то голова кружится, – показывая, как это происходит, смешно зажмурившись, он повел голову сначала в одну сторону, затем в другую; в ответ на откровенность ему тоже хотелось сказать сейчас о себе самое главное, сказать все – и тайное, и неприятное; он знал, что именно сейчас, именно здесь правильно поймут и простят; ясный и в то же время как бы предостерегающий, останавливающий взгляд Анны Михайловны заставил его замолчать. К тому же и Оля, вскочив и обхватив его сзади за плечи, не давала ему подняться и, смеясь, тепло дышала в голову.

– Нет, что же это такое? – спрашивала она с обидой. – Прямо какой-то вечер воспоминаний! Вы оба, дорогие, мои, просто удивительные зануды!

– Ольга! – строго сказала Анна Михайловна, намереваясь рассердиться; у нее ничего не вышло, и она тоже тихо и грустно засмеялась.

\* \* \*

День на день не приходится; каждую свободную минуту Петя теперь стремился проводить с Олей, у нее в доме; Анна Михайловна совершенно расположилась к нему и принимала как родного, и его стало невозможно застать дома у себя; однажды, когда Оля на неделю уехала, он перед самым вечером заскочил на минутку к себе на квартиру и, открыв дверь и увидев перед собой мать с тяжелыми сумками в руках тоже только что вошедшую, даже не смог скрыть своего недовольства.

– Здравствуй, – сказала Аленка, сунув ему по пути сумки. – Неделю к тебе названиваю, уже беспокоиться начала. Тебя или дома нет, или ты не берешь трубку... Ну как ты? Хотела тебя поздравить, читала твою последнюю статью в «Вестнике»... Свежо пишешь... Есть мысли интересные. Молодец!

– Так ведь стараюсь, мать, – кивнул Петя, пристраивая сумку рядом с зеркалом.

– Ну-ка, не ленись, в холодильник на кухню неси, – сказала Аленка. – Я всего на минутку, здесь продукты, ты же, несомненно, голоден..

– Ну почему непременно голоден? – спросил он, однако понес сумку на кухню. Аленка, бросив легкий светлый плащ у зеркала на стул, прошла за ним. Открыв сумку, Петя заглянул в нее и присвистнул. Поверх множества свертков и пакетов красовались две бутылки виноградного сока; взяв одну, Петя тщательно изучил этикетку.

– Ого, кажется, у нас большой разговор наклеивается? – насмешливо присвистнул он. – Могла бы по этому случаю что-нибудь и посущественней прихватить...

– Как же, только об этом и думала... поставь лучше чаю, – попросила Аленка, – я ореховый шербет в Елисеевском купила. Можно – и соку... только разбавить... Да, сын, хотела с тобой посоветоваться, поговорить спокойно... Я улетаю на конгресс, в Париж...

– Можно и поговорить, – вполне резонно заметил Петя, сдвигая широкие темные брови. – Ты не забудь, передай привет сестренке, не забудешь?

Аленка кивнула и села на небольшой жесткий диванчик возле холодильника; открыв бутылку, Петя достал фужеры, налил.

– Знаешь, Петя, я много думала, прежде чем прийти к тебе, ты уже давно взрослый, самый мой близкий человек на свете...

– Мать, слушай, а можно не так торжественно? Без таких долгих предисловий, прямо к делу?

– А можно спокойней, без хамства?

Взяв сок, она отхлебнула; Петя присел к столу в ожидании; мать никогда раньше не страдала нерешительностью, что же случилось, в конце концов?

– Мы с Константином Кузьмичом знаем и уважаем друг друга давно, он одинок, я теперь совершенно одинока. Ты и Ксения стали чужими, далекими, впереди старость – угасание, одиночество... Что с тобой, Петя? – быстро спросила она, делая к нему невольное движение.

– Со мной ничего, – отрезал он, с отцовскими в безрассудном гневе глазами; потемневшие зрачки у него еще больше сузились, брови были напряженно изломаны. – Со мной ничего, – раздельно, уже спокойно повторил он. Твоя личная жизнь меня не касается, так же, как и моя тебя... Какая разница – кто! Пусть будет Шалентьев... И потом, зачем ты затеяла этот разговор? В конце концов, повторяю, это твое личное дело...

– Петя, я устала, устала от жизни, устала быть одна... А Шалентьев... С ним интересно, он талантливый человек, крупная, сильная личность...

– Ну как же иначе? Как мы обойдемся без крупной личности, без министерского пайка?

– Не хами, ты как будто на рожон лезешь, ищешь ссоры! Не буду я ссориться с тобой. Ближе тебя у меня никого нет, не надо, Петя, – устало попросила Аленка. – У нас хватает с кем воевать. Я решилась переехать к Шалентьеву, естественно, он хочет остаться у себя. Тебе же я советую перестать метаться, твое законное место под старой отцовской крышей... Потеряешь квартиру, потеряешь прописку. Петя, подумай, это ведь очень серьезно. Надоест же тебе когда-нибудь мотаться, захочется в Москву. Ксении с ее мужем хватит и половины, да они себе строят кооперативную, вот что я хотела тебе посоветовать, – тихо сказала Аленка. – Никак не остепенишься, Ксения – за границей, совсем чужая. Денис растет без родителей, в жежских лесах.. Как в какой-то злой сказке.

– Ладно, мать, – примирительно протянул Петя. – Не бери себе в голову. Я подумаю...

– О Денисе надо подумать. Его место тоже здесь. Дед не успел его усыновить...

– Я как только прочно закреплюсь, заберу Дениса, усыновлю его, мы с ним поладим, – сказал Петя.

– Ты сначала сам встань на ноги, устрой свою жизнь, найди себя! У тебя свои дети будут, еще натешись... Странное из вас поколение вышло – я так и не могу понять, чего вы недополучили?

– Знаешь, мать, возраст здесь ни при чем. Биологический возраст – всего лишь запас энергии, вот ее расход – функция социальная, суть именно в этом. А недополучили мы многое! – сумрачно усмехнулся он, опять став разительно похожим на отца. – Мы недополучили от вас чувство страха, умение думать одно, а говорить другое, называть черное белым и наоборот! Вы ведь боитесь до конца, до точных определений додумать, что же в самом деле произошло со времена Сталина, остановились на полпути и национальную трагедию подменили на шоу с преодолением... А ведь и нужно-то решить один коренной вопрос: признать, что эксперимент не удался... и поискать иного решения.

– Петя! Не смей! Как же можно обо всем так, с размаха, без души, без сердца, не безродный же ты...

– Не надо, мать, – попросил он. – Мы в самом деле взрослые, что тебя оскорбляет? Пытаемся отыскать ответ на многие вопросы, на которые вы так и не ответили... Задумайся, подлинная летопись кем-то пишется, в душе народа пишется. Может быть, у нас и самый лучший в мире строй, опять-таки дело в другом: все живое должно развиваться и совершенствоваться в борьбе, даже самое лучшее.

– Знаешь, Петя, очень прошу, поговори с Константином Кузьмичом, он ведь очень умный человек, интересуется тобой, читает все твои статьи, – подумала вслух Аленка. – Мне трудно с тобой, с некоторых пор я не понимаю ни твоего поведения, ни твоих мыслей...

– Лестно, лестно, – сказал Петя, он весь подобрался, словно приготовился к прыжку. – Значит, интересуется... Действительно, почему бы не поговорить?

– Что за тон, какое-то жалкое фиглярство! Перестань паясничать! – сощурившись и глядя на сына в упор, попросила Аленка. – Кстати, у него как раз тяжелейшая полоса... ты несколько дней можешь подождать? Он срочно улетает, вот вернется из этой командировки...

Аленка хотела сказать, что на этом маршруте как раз погиб Брюханов, но не смогла, промолчала.

– Тем более! Тем более! – подхватил Петя, пробежался по просторной кухне, вернулся с кипящим кофейником. – Тебе чаю или кофе? Встреча с Константином Кузьмичом, надо полагать, даст мне самые верные основополагающие ориентиры...

– Он тебе добра хочет, босяк ты этакий! – не выдержала Аленка. – Ну что ты с ним делишь? Два умных человека, вы должны стать сильнее оттого, что сошлись в одной семье, а не отравлять друг другу жизнь комариными укусами. Нет разве других, более важных, настоящего интересных, достойных человека дел и свершений? Вот опять ты кашляешь... Когда ты пойдешь к врачу? Все, я больше не могу, завтра поведу тебя сама, сделаем хотя бы флюорографию...

Едва отдышавшись после приступа кашля, весь взмокнув, Петя отрицательно замотал головой.

– Кашель – ерунда, пройдет, куда мы с тобой не пойдем, я записан на прием к начальнику главка. Я о другом! – он отпил из чашки горячего чаю. – Скажи, мать, отец был честным человеком? Понимаешь, со мной что-то случилось, что-то плохое... Я ничему не верю. И понимаешь, не один я. Я тону, мать, мне кажется, что я никому не нужен и все, все, понимаешь, все на свете фальшь, ложь, фарисейство! Никому ничего не нужно! И никто никому не нужен. Все бесполезно, все глухо, все ложь. И мне кажется, что идет это от каких-то старых-старых грехов отца, твоих, вашего поколения. Там, на востоке, я встретил человека... инженера. Он отсидел двадцать лет. Понимаешь, ни за что! В это трудно поверить. В Москву он уже не вернулся... Умер там. А отец мог его освободить из-под ареста. Он работал с Чубаревым на Зежском мотостроительном и знал отца.

– Не мучай себя, сынок. Отец был честным человеком. И если он не спас этого инженера, значит, не мог. Он многим помог в жизни и сделал много добра. Один единичный случай, даже если он был, не может перечеркнуть всю жизнь.

– Но ведь у Козловского тоже была одна только жизнь, – тихо сказал Петя, и оба замолчали; к ним возвращалась, казалось, давно уже и бесповоротно утраченная душевная близость, и Аленка боялась шевельнуться, спугнуть эту минуту тишины. Зазвонил телефон, никто не поднялся, не взял трубку.

– Это, наверное, Оля. Я как-то без тебя говорила с ней по телефону. Такая славная... Сейчас такие все резкие, угловатые, а эта девушка славная... Она – дальневосточница? Там встретил? Ну расскажи, пожалуйста... Что ты все отмалчиваешься да отмалчиваешься...

Петя опять ничего не ответил, и разговор как-то само собой переключился на другое, на предстоящую поездку Аленки в Париж, на Ксению, опять на Дениса, на деда Захара, опять на квартиру, затем перешел совсем на спокойные ноты. Петя сказал, что о квартире сейчас разговаривать преждевременно, надо подождать, когда Ксения будет в Москве.

– Не знаю, сын, – вздохнула Аленка, собираясь уходить. – Ты чего-то не договариваешь – какая уж тут откровенность? Когда сможешь, сам расскажешь обо всем... придет время, сам себе и ответишь... Звони все-таки, заходи, переломи себя. Я ведь совсем одна осталась, ты же у меня один сын, другого не будет.

Проводив мать, он опять долго не обращал внимания на часто звонивший телефон, словно не слышал его; листая журнал, он пытался понять, почему действительно не хочет сказать матери все откровенно о своем нездоровье; затем он неожиданно подумал об Оле; он что-то видел во сне, снова, кажется, Олю, в купальнике, загорелую и веселую, и рядом с нею своего отчима, Шалентьева Константина Кузьмича, в плавках, с волосатым толстым животом. Отчим

явно заигрывал с Олей, и Петя от обиды проснулся, сел на диване и потряс головой. Кто-то настойчиво подолгу звонил в дверь; чертыхаясь, Петя пошел открывать и вернулся с подтянутым, энергичным, красиво подстриженным Лукашом; его рыжеватые волосы были уложены в модную прическу. Распространяя вокруг себя довольство и энергию, увидев на столе недопитый сок, Лукаш тотчас извлек из своего «дипломата» бутылку дорогого армянского коньяка, тут же открыл, достал из буфета две чистые рюмки; в ответ на недовольную гримасу хозяина пригладил обеими руками и без того безукоризненно уложенные волосы, и его широкая сияющая физиономия придвинулась к Пете почти вплотную.

– Ни слова! Сегодня ты должен! – потребовал он. – У меня сегодня большой день...

– Что же случилось, старик? – все так же вяло опросил Петя и взял рюмку; ему и самому захотелось выпить.

– Сегодня подписан приказ о моем назначении первым заместителем редактора, Брюханов! Конечно, по твоим меркам ничего особенного не случилось, однако я звезд с неба не хватаю, я простой смертный. Можешь меня поздравить...

– Поздравляю... от души, – с некоторой иронией сказал Петя и, помедлив, выпил. – Счастливый ты человек, Сань. Я, право, по-хорошему тебе завидую... Я уже вижу в снежной замети... далеко-далеко, как прорисовывается чей-то величественный монумент...

Смеясь, Лукаш тут же еще налил Пете, капнул чуть-чуть себе, и они опять чокнулись, и Петя опять выпил; чувствуя, как отпускает голову и мир вокруг него становится веселее и шире.

– Еще, еще одну! – потребовал Лукаш, наливая. – Бог троицу любит... Ну давай, поехали! – подбодрил он и, дождавшись, пока хозяин выпил и, устраиваясь удобнее на диване, подобрал под себя ноги, отнес рюмки на стол; остановившись затем посередине комнаты в картинной позе, он откровенно, даже с некоторым вызовом сказал: – Да, я, Брюханов, счастливый, хотя монумента, пожалуй, и не состоится, у нас ведь не терпят активных, творчески мыслящих людей, у нас никто не должен высываться. А я вот все равно – счастливый! А почему? И с горем, и с радостью – я сразу к людям! Вот как сейчас к тебе... И не надо никаких монументов, оставим их вождям, пусть с нами пребудет всего лишь чувство борьбы. Выпьем еще?

– Давай...

Пете стало легко и свободно, ненужные мучения и страхи от него отлетели; симпатичное широкое лицо Лукаша сияло, стало милым и умным, и Петя не мог понять своего недоверия к нему десятью минутами раньше, хотя по-прежнему безошибочно чувствовал какую-то всегда исходящую от Лукаша опасность. В то же время Пете казалось, что Лукаш искренний друг и что если он и не забывает себя, то у него, у Пети, не станет вырывать кусок из рта. Одним словом, уверовав в необходимость их творческого союза, он охотно рассказывал о своей работе, дальнейших планах; к вечеру Лукаш все-таки вытащил его из дому. Они славно поужинали в уютном и шумном ресторанчике журналистов; Лукаш совсем размягчился и расщедрился; не забывая подливать в рюмки, он вспоминал школу, детство, строил планы на будущее, они с Петей, объединившись, переворачивали все вверх дном в экономике; из него фонтаном били самые смелые, фантастические идеи и предложения о совместной работе. Петя попытался поделиться с ним мучившими его мыслями, коротко рассказал о Козловском. Недолгое внимание на лице Лукаша сменилось откровенной иронией.

– Какая же у тебя чушь в голове, Брюханов! – сказал он, посмеиваясь. – Нашел о чем думать и кого вспоминать! Сталин! Тридцать седьмой год, репрессии... Кому это сейчас нужно и интересно? Ну было, все было. Сталин был, несомненно, деспотом и тираном, но не он первый, не он последний. У деятелей такого размера иные нравственные нормы, они не подпадают под ординарные представления. И не какому-то попавшему под колеса истории Козловскому судить о Сталине, абсурд! Это уже прошлое, пойми, прошлое, история.

– Подожди... иные нравственные нормы? – спросил Петя. – Не понял.

– Не надо, не надо! Не понимай! У нас свои цели, нам копать в дерьме прошлого попросту некогда, нельзя. Следующее поколение уже в затылок дышит, вот-вот перехлестнет. Давай лучше о нашем проекте реформы наследования подумаем, – отмахнулся Лукаш.

– О нашем? – переспросил Петя и тут же в ответ на наивно-непонимающий взгляд Лукаша, в глазах у которого что-то вспыхнуло и захлопнулось, тут же добавил: – Ну да! Мы ведь договорились о совместной работе! Слушай, Сань, а все-таки к Сталину и к его эпохе необходимо выработать более точные определения и мерки... ведь черт знает что получается...

– Перестань смешить, Брюханов! – опять остановил его Лукаш. – На кой черт забивать голову ветошью? Все растет из опыта, личного опыта человека, народа, государства, строя! Кто спорит? Ну, попробовали и – дальше! дальше! Нельзя останавливаться, вот главное. Ты хоть это понимаешь, садовая твоя башка?

– Сань...

– Пошел к черту! У меня праздник... пока твоя Оленька склеивает черепки на юге... понимаешь, – зашептал Лукаш, наклоняясь к самому уху Пети, и у того вскоре сделалось заговорщическое выражение лица; выслушав, он все же отрицательно замотал головой:

– Врешь ты все... Перестань, не верю я тебе, Сань...

– Сама звонила, приглашала, – уверял Лукаш. – Нет, я тебя не понимаю... неужели тебе неинтересно появиться таким чертом... победителем... А-а, стой, неужели все перегорело?

– Нет, нет, не уговаривай, – наотрез отказался Петя, посмеиваясь. – Я должен очиститься... понимаешь...

– От чего отчиститься-то? – оторопел Лукаш. – Давай держи, по последней и покатым... в самом деле, смешно, подумаешь, святой... Как полста стукнет, очищайся, самый раз будет...

– Я себя неважно чувствую... нехорошо что-то... Скверно у меня в душе, ты, Сань, дубина, не понимаешь, – упрямо стоял на своем Петя, но в конце концов Лукаш переселил, и дальнейшее Пете вспоминать на другой день было нехорошо и стыдно; он опять много пил, теперь уже оказавшись все-таки против своей воли на Арбате у сестер Колымьяновых; едва увидев Леру, он тотчас почти протрезвел и сразу понял, что приезжать сюда было нельзя и добром это не кончится. Он хотел повернуться и тотчас выйти; взгляд, которым обменялись Лукаш с Лерой и который он успел перехватить, остановил его. Его намеренно затащили в некий враждебный мир, и он не собирался тотчас, всем на потеху, удариться в бегство, и, конечно же, Лукашу нужно было бы намять бока за его подлость, но в конце концов наплевать... У них тут какие-то свои делишки, и Лукаш просто использует его в своих целях, и Лерка посматривает на Лукаша вполне сознательно...

Решив ничему не удивляться, быть совершенно спокойным, Петя, однако, не рассчитал своих сил, и едва хозяйка под села к нему в стала как ни в чем не бывало расспрашивать его о жизни, он, спасаясь от самого себя, потребовал вина, коньяку; в приступе красноречия он овладел всеобщим вниманием безраздельно, как когда-то в университетские годы, то и дело вызывая взрывы хохота, с какой-то болезненной обостренностью подмечал малейшую мелочь; даже отметил момент, когда его впервые откровенно поманили зеленоватые, с рыжеватым отблеском глаза, момент, за который лет пять назад он отдал бы все...

Внутренне задохнувшись, он оборвал свой ухарский рассказ; испугался темной, поднимающейся в душе волны.

– Я ни о чем не жалею, Брюханов, – сказала Лера, тоже угадывая все происходящее с ним без слов, и лишь глаза у нее потемнели и стали огромными. – Сашка хорошо придумал, привез тебя сюда... Я ведь никогда не хотела сделать тебе больно... обидеть тебя... Просто я такая, какая есть... Теперь ты знаешь все. Вот все сразу и кончится...

– Да, ты вот такая, – сказал Петя, растягивая слова. – И ты мне должна... много должна...



– Ну так давай выработаем условия, давай определим, сколько же именно? – спросила она, поднося ему рюмку дрожащей золотистой жидкости, и глаза ее опять тянули в неведомую, порочную даль.

– Все равно не рассчитаешься, жизни не хватит! – ответил он, с вызовом чокнулся с ней, совершенно забывая о присутствии Лукаша...

На другой день, уже дома, он вспоминал все разорванно и смутно и долго страдальчески морщился, ворочаясь с боку на бок. Теперь он твердо знал, что болен серьезно, и не только простудой, а болен нравственно, душою болен, и что эта болезнь еще более разрушительна, чем физическая, и дело не в Лукаше и не в Лере Колымьяновой, а в нем самом, ведь он думал, что она давно стала ему безразличной, и вот вдруг такой поворот. Хотя, собственно, какой такой особый поворот? Да, нехорошо, да, низко по отношению к Оле, и все же в нем что-то окончательно порвалось и очистилось: завершился, разрешился долгий, болезненный кризис; так должно было быть, и нечего об этом больше думать. Однако вернувшаяся через неделю Оля, загоревшая, жизнерадостная, счастливая, не узнала его; он встретил ее вяло, даже не побрился, от него несло вином; Оля кинулась к нему, начала его обнимать, тормошить, несколько раз поцеловала, и руки у нее опустились.

– Петя, ты болен, – сказала она тревожно, ласкаясь к нему. – Вот отчего ты мне не писал, не звонил.

– Нет же, нет, я здоров, пройдет, – сказал он равнодушно, и глаза у него оставались незрячими, опустошенными.

– Говори, что с тобой приключилось, я все равно от тебя не отстану, пока не скажешь, – мужественно потребовала она, и Петя невольно улыбнулся.

– В самом деле, ничего особенного, просто устал. Много работы... Вот журнал решил провести интересное социологическое исследование... Лукаш меня втянул, даже из сна выбило, третью ночь не могу спать...

– Я не дам тебе столько работать! – с жаром сказала Оля, опять целуя и тормоша его, зарываясь руками в густые, шелковистые волосы. – Я тебя усыплю, милый! Ты сегодня будешь спать как ребенок... Я тебя только прошу, ты ничего не скрывай, говори все, все...

Он закрыл глаза, чувствуя отвращение к себе, однако молодость и жизнь взяли свое; но на другой день он опять почувствовал ко всему отвращение и не мог этого скрыть. Оля ничего не понимала, ходила потухшая и задумчивая, затем поделилась своими огорчениями и заботами с теткой, и Анна Михайловна, не откладывая в долгий ящик, потребовала встречи; Петя пообещал, даже час назначил и, конечно, не пришел, и Анна Михайловна, маленькая, стремительная, разбрасывая все на своем пути, решила сама ехать к нему и дать хорошую выволочку; племянница с большим трудом удержала ее, уверяя, что дело здесь серьезнее и глубже, дело не в ней, Ольге, и не в распушенности и порочности Пети, а в нем самом, женщина здесь не замешана, что...

Ей удалось успокоить и убедить горячую и скорую на расправу тетку, хотя сама она оставалась в растерянности и недоумении. Она безошибочно чувствовала, что Петино состояние не связано с какой-то другой женщиной, что причина кроется глубже, и необходимо было сначала самой успокоиться и дать всему свой ход; лучшего рецепта не мог бы порекомендовать и самый опытный врач.

## 10

Самолет ровно шел на большой высоте; несмотря на скорость, казалось, он просто завис в хрустальном голубом пространстве; стекла иллюминаторов справа сияли чистыми, тяжелыми сгустками первозданного огня, за ними начиналась непреодолимая магия первичности, чистоты исчезновения.

Петя давно уже приспособился к неожиданным перемещениям в своей жизни и теперь почти не реагировал на них; просто его в очередной раз словно взяли и выдернули из привычной, ненадолго устоявшейся московской жизни, швырнули в кипящий водоворот, и он как бы в один момент пролетел по кругу дня и ночи, увидев и отметив сразу множество несовместимых вещей, и продолжал нестись дальше, окончательно привыкая и к отчиму, и к тому, что находится в его личном самолете; Петя думал, как иногда все неожиданно и быстро, даже помимо желания, свершается. Просто отчим, вернувшись поздно вечером и выслушав восторженный рассказ матери о приходе пасынка, ночью позвонил ему и, узнав, что Пете необходимо было посоветоваться кое о каких делах, предложил слетать с ним. в командировку – туда-обратно. – и по дороге поговорить. «Отвлекать не буду», – коротко прокомментировал Шалентьев свое предложение, и Петя сразу согласился.

Глядя сейчас в редующий седой бобрик отчима (посапывая, тот знакомился с какими-то бумагами в папке из хорошей тисненной кожи, время от времени резко перебрасывая просмотренные листы справа налево), Петя не очень-то ловко чувствовал себя; стараясь скрыть неуверенность, отхлебывал принесенные красивой пышноволосой молодой стюардессой взбитые с апельсиновым соком сливки, он глубоко ушел в себя; он попал в другой, еще более жестокий, еще более убыстренный мир, где людям некогда было остановиться и обдумать сделанное, в этом новом мире имелись личные самолеты, существовала непреложная необходимость для пожилого человека срочного прыжка из одного конца страны в другой, с одного полушария в другое, потому что в этом мире каждую минуту непредвиденно изменялась политическая ситуация, над пространствами всех пяти материков дули непредсказуемые политические ветры и в противостояние возможных ударов в свою очередь намечались регионы опустошительных катастроф...

Мысленный взор Пети, его от природы богатое воображение обнаженно представили себе континенты, испаряющиеся в смерчах бушующего огня, бесконечные коробки городов, взявшие расплавленной коростой железа и бетона.

Незаметно потеряв виски, он решил больше не давать ходу своей фантазии; он почти физически страдал от своих мыслей, но не думать не мог, тем более что летели они с отчимом тем самым маршрутом, в конце которого произошла катастрофа и погиб три с лишним года назад отец; отчим предупредил его об этом, и Петей сейчас владело мучительное желание пролететь над местом гибели отца, почувствовать и понять, как это могло случиться.

Шалентьева сопровождала свита человек из пятнадцати экспертов, помощников, заместителей и даже двух связистов, и все сопровождающие находились в соседнем, общем салоне; здесь же, в уютном небольшом салоне, оборудованном под кабинет, они были вдвоем; время от времени кто-нибудь из экспертов, попросив разрешения войти, клал перед Шалентьевым очередную депешу и, бесстрастно взглянув на Петю, уходил; очевидно, случилось что-то непредвиденное и у отчима не было возможности оторваться от срочных дел; не поднимая головы, с упорством и неутомимостью автомата, он перерабатывал непрерывно подваливавшую информацию. Глядя сбоку на его бугристый широкий лоб, Петя, быть может, впервые ощутил к нему уважение. Пожалуй, именно здесь, в непрерывном, стремительном, затягивающем движении, было неловко думать только о себе, о дисгармонии души и прочих личных вещах...

– Ты меня прости, – сказал в короткую передышку отчим, отодвигая очередную кипу просмотренных бумаг. – Никак не ожидал такого оборота дел... Видишь, невозможно и поговорить... Мне, по всей видимости, дня на два придется задержаться... Если хочешь, я тебя сегодня же отправлю обратно...

– Как вам удобней, Константин Кузьмич. Если не помешаю, – улыбнулся Петя, – хотел бы с вами вернуться. У меня время терпит. Все равно надо ждать решения министерства по поводу ЭВМ... Я думаю, если страна наша разорится, так только от чудовищного нашего бюрократизма...

Шалентьеву принесли еще несколько радиogramм, и он, быстро просматривая их, на глазах тяжелел; брови сдвинулись, у рта обозначились крупные складки; таким непримиримым, сжавшимся Петя видел отчима впервые, и Шалентьев опять откуда-то из своего далека, блестя глазами, сказал:

– Скоро посадка... Да, в иные моменты время прессуется до степени нуля. Если захотеть, можно многое увидеть и понять... Распределение в мире несправедливо, одни живут себе внешней жизнью, только небо копят, их стихия – болтовня, другие пожизненно впряжены в ярмо – тянут, тянут, холка трещит... Одни собирают и через силу складывают камни, другие их тут же вновь разбрасывают – неизвестно, кто так распределил. Иногда обидно становится, например, за твоего отца, нестерпимо обидно...

Петя внимательно и молча слушал, окончательно свыкаясь с мыслью о своем внутреннем сближении с отчимом, и опять-таки впервые, через его воспоминания об отце, как-то поновому ощущая тяжесть власти и физически ощутимую постоянную усталость от этой тяжести, тайное желание пощады, помощи и понимания; минута слабости кончилась – и тотчас на лице отчима вновь набежала неизбежная маска; холодность, недоступность и легкое раздражение за неожиданную слабость, выражающаяся в полунасмешливом прищуре глаз, в неподвижности подбородка.

В салон, попросив разрешения, вошел штурман, собранный, лет тридцати пяти; взглянув на Петю, он повернулся к Шалентьеву:

– Ровно через минуту под нами будет Аюракский хребет, Константин Кузьмич... Видимость хорошая, чисто, нужно смотреть влево на самые высокие вершины, они как бы отделились от общей цепи в сторону... Здесь... у их подножия, справа... Да, вот они и есть... проходим... Вы видите, Петр Тихонович? Если хотите пройти в кабину... мы успеем...

Поблагодарив, Петя остался на месте, по-прежнему не отрываясь от холодного стекла, тотчас забыв об отчине, о штурмане и пытаясь вызвать в себе то чувство любви к отцу и чувство своего запоздалого раскаяния, которое часто охватывало его при мыслях об отце. Но все в нем сейчас молчало, и сердце, и душа; с каким-то болезненным желанием стараясь ничего не упустить из проплывавшей внизу далекой картины гористой земли, он, все сильнее прижимаясь лбом к стеклу, неловко выворачивал шею; он видел сейчас отдельно сгруппировавшиеся белые острые вершины, они поднимались и стили в синеве намного выше всего остального хребта, перечеркнувшего плоскогорье с юга на север, но опять-таки ни сердце Пети, ни ум не хотели признавать, что это то самое место на земле, где не стало отца. Здесь, вероятно, до катастрофы никогда не ступала нога человека, и короткую, мгновенную вспышку, оборвавшую несколько десятков человеческих жизней, таких важных для каждого в отдельности, природа в этом мире тайги и первородного камня, надо полагать, совершенно не заметила, и от этой неуютной и ненужной сейчас мысли Пете стало холодно. «И в чем же смысл, и где путь? – спросил он у себя. – Почему я здесь, зачем мне необходимо видеть эту бесконечную, гористую землю, без единого признака человека... На это, кажется, нет и никогда не будет ответа, просто больно сердцу. Да кто я такой, чтобы судить о жизни? Никто, никто не знает, кто он есть и зачем, и никто ничего не может ни объяснить, ни понять... Ведь вот почему-то в последние годы я не мог, не хотел называть его не только «папой», как в детстве, даже грубоватое «отец»

я старался не произносить, мне было трудно себя заставить это сделать, я не мог, и, встречаясь, я обращался к нему безлично. Ему было больно, и я знал это, знал, и не мог, не хотел, и ведь единственная его вина заключалась в том, что он дал мне жизнь. Теперь я знаю, что это было что-то детское, глупое, болезнь роста, болезнь самоутверждения, это давно прошло, кончилось, мне стыдно, но он-то ничего не знает и никогда теперь не узнает, а ему, наверное, от этого было труднее жить. Странно: так мучиться, а сейчас я ничего не чувствую, я ожидал какого-то волнения, очищения и вот – совершенно ничего... Даже неловко взглянуть в сторону Константина Кузьмича... А ведь представлялось необходимым и важным... что же он чувствовал в последний момент, о чем подумал? Что вспомнил? Или этого делать нельзя... есть запретная черта, и стремление переступить ее – кощунство?»

Разворачиваясь, самолет накренился, и земля плавно ушла вниз и назад, и Петя теперь видел один сияющий яркий голубоватый простор; оторвавшись от стекла, он с облегчением вздохнул и встретил взгляд отчима.

– Заходим на посадку, – сказал Шалентьев, устало шурясь. – Я бы согласился еще два дня лететь, можно было бы подремать, подумать... А то ведь такие стали скорости...

– Вы не первый раз летите этим маршрутом, Константин Кузьмич?

– Не первый. – Шалентьев коротко взглянул, поняв, о чем думает сейчас пасынок. – Сами того не ведая, мы лишь закладываем семена... прорастают они потом... потом, когда уже самого сеятеля давно нет...

– И с нами так будет?

– Уверен, – ответил Шалентьев, и короткий их разговор оборвался; самолет теперь заметно терял высоту, и Петя опять стал смотреть вниз, на землю, думая о какой-то странной пугающей похожести в выражении глаз отчима и Козловского в момент их последней встречи, оказавшейся и прощанием; но что, что же такое они знают, отчего в них присутствует внутреннее, неоспоримое право жить и почему им не страшно жить? Чувствуя, что еще одно усилие, еще немного – и он поймет, что вновь свяжутся оборванные начала и мучающая его пустота заполнится прочным надежным смыслом, Петя с напряжением вглядывался в неотвратимо надвигающуюся землю и волнующуюся поверхность воды.

Картина непрерывно менялась; самолет, заходя на посадку и делая над океаном размашистый разворот, снижался, и все новые и новые подробности проступали внизу. На высоких вершинах сопok неровными пятнами белел снег, лежал он и в более низких впадинах, ослепительно блестела кромка прибоя, кипевшего вдоль причудливо изрезанного берега, казалось, совершенно безлюдного, первозданного, в неповторимом хаосе скал, обрывов, вкрапленных тут и там отмелей. Она тянулась безгранично далеко, пропадая в темной, тяжелой синеве океана и в более светлой и воздушно-легкой – неба. На земле преобладали пока темные цвета: зеленые, коричневые, серовато-размытые; Петя никак не мог собрать открывавшуюся внизу картину воедино. Шалентьев, поглядывая на Петю и завидуя его незнанию и молодости, приготавливаясь к встрече и выстраивая план предстоящих действий, еще и еще раз продумывая расстановку сил, участвующих в игре, старался предугадать исход; он продолжал думать об этом и после посадки, здороваясь со встречавшими его людьми, и по дороге в небольшой, затаившийся среди сопok, почти у самого океана, крошечный городок, наполовину ушедший под землю, в каменные скалы. Давно уже выработав в себе способность собраться мгновенно, Шалентьев и теперь уже был готов к схватке, хотя его несколько отвлекло присутствие пасынка, но их наметившееся внутреннее сближение с лихвой восполняло все неудобства. Шалентьев попросил поместить Петю в соседний номер и, перед тем как уехать по делам, зашел к нему, осмотрелся.

– Ну, погуляй тут, подыши океаном, а к вечеру мы, Бог даст, и рыбалку соорудим.

– Велика у вас империя, Константин Кузьмич! – сказал Петя с явным уважением. – Куда забрались – на край света... Точки приложения у вашего ведомства – ого!

– Точки приложения определяет обыкновенная электроника, – сказал Шалентьев, не скрывая, что ему приятно энергичное оживление пасынка. – Не теряй зря времени, пока меня не будет, походи по окрестностям, не пожалеешь. Великолепнейшая рыбалка... жаль, ты не интересуешься...

– Спасибо, Константин Кузьмич. За все спасибо. Обо мне не беспокойтесь, я скучать не умею.

– Я знаю, Петр, – серьезно и спокойно сказал Шалентьев. – Нельзя понять России, не ощутив ее расстояний, ее души... Будь гостем, не стесняйся, тебя здесь покормят... Там у них в клубе и бильярд есть... Сутки как-нибудь пройдут, а завтра к вечеру улетим... На обратном пути мы с тобой все наверстаем.

Петя согласно кивнул, но ощущение внутреннего сближения и дальнейшая потребность такого сближения между ними еще усилилась и окрепла; Шалентьев отправился по своим делам, и Петя подошел к просторному окну с двойными рамами. На другом берегу бухты, километрах в пяти, бугрились склоны сопки; редколесье, взбегающее почти к самой белизне острых вершин, ослепительно сияло под солнцем. С некоторой иронией по отношению к самому себе Петя вспомнил свою полудетскую теорию факта предрасположенности к нему, Петру Тихоновичу Брюханову, лично самой судьбы, когда все в нужный момент разрешается именно в его пользу. Такую мысль впервые подбросил ему как бы шутя Сашка Лукаш (помнится, они заканчивали девятый класс), завидуя его успеху у девушек, и с тех пор эта нелепая мысль нет-нет да и всплывала в сознании в самые трудные, критические моменты. Со временем Лукаш во многом, в том числе и по части девушек, далеко перещеголял своего друга-соперника и давным-давно забыл о своих юношеских бреднях, а вот Петя почему-то помнил. Нестерпавшаяся память, услужливо порывшись в своих тайниках, не замедлила подсунуть ему еще одну из самых болезненных и стыдных страничек жизни; отец как-то вошел в его комнату и, помявшись, стал выталкивать неловкие фразы – видно было, что ему самому нестерпимо больно и стыдно; лицо у Пети пошло неровными пятнами, губы задрожали; рушилась и какой-то невыносимой, немыслимой грязью оборачивалась первая любовь, и он, не выдержав, ненавидя в тот момент ни в чем не повинного отца, со злобой закричал, что он не верит, не верит ни ему, ни матери, не верит ни одному ах слову, что они лгут, что они ханжи и лицемеры, что она, она только его любит и не может так подло поступить.

Охваченный порывом нарастающего бешенства, когда сам человек превращается в сгусток хаоса и тьмы, сквозь застилавшую глаза муть он видел неподвижное, затвердевшее лицо отца и его беззвучно шевелящиеся губы. Он оглох, ослеп, на него обрушилась давящая оглушающая тишина; отец что-то говорил, но слов не было слышно, ничего не было слышно, ни одного звука; Петя, готовый сию же минуту покончить с собой, выброситься в окно, сделать что-нибудь непоправимое, увидел медленно, неотвратно приближающееся, почему-то огромное лицо отца; в следующий миг отец словно тисками сдавил его плечи и несколько раз встряхнул. Дождавшись, когда глаза у сына прояснились, он с трудом разжал стиснутые зубы и, сдерживая голос, сказал, выделяя и подчеркивая одно и то же слово.

– Она не только так поступила... Когда я попытался поговорить с ней, она не стала слушать и просила передать тебе, что любит другого и всегда его любила. Ты был только ширмой. Женщины жестоки. Они еще не такое умеют. Так бывает в жизни, она тебя не любит и никогда не любила... Она выбрала, они уже зарегистрировались. – Отец перевел дух и махнул рукой. – К черту! Не сходи с ума, ты же мужчина...

– Уйди, – попросил Петя. – Кто вас просил, зачем вы вмешались? Я бы сам во всем разобрался. Зачем ты слушаешься мать?

– Мы не могли поступить иначе, мы хотели помочь, это так естественно...

– Уйди... Ты ведь тоже не знаешь, что делать...

– Я уже тебе сказал, быть мужчиной. Посмеяться над собой и забыть – вот что нужно, – неожиданно резко сказал отец, еще раз близко, пристально и долго взглянув сыну в глаза, и ушел, а Петя, бессильно свалившись на диван, пролежал несколько часов. Он не знал, сон ли то был или мутная явь; то из одного угла, то из другого, а то просто из стены появлялся он, муж, сутуловатый, волосатый, с ухмыляющейся знакомой рожей, Сенька Амвросимов, сын личного кремлевского повара самого... и от него сейчас тянуло острым украинским борщом с чесночными пампушками... Петя, сжимая кулаки, бросался на приступ, целя именно в рожу, но муж в самый последний момент исчезал, и, когда Петя, ненавидя себя за слюняйство, за истерику, которую он никак не мог остановить, валился на диван, муж появлялся вновь. И все в том же облики – навеселе, с закатанными рукавами и расстегнутым воротом; весь его вид говорил о довольстве жизнью... и Петя, зажмуриваясь, вновь срывался с места... В последний раз муж возник из кувшина с водой, стоявшего на столике у двери; крышка стала увеличиваться, и скоро у двери опять стоял муж, то есть все тот же Сенька Амвросимов, плутовски, нахально, как-то одним глазом намекая на что-то очень интимное, известное только им двоим, подмигивал; запах украинского борща усилился, и Петя, отвернувшись к стене, стиснул зубы, закрыл глаза и провалился уже окончательно то ли в беспмятство, то ли в тяжелый беспробудный сон.

Стоя у окна, у застывшей величественной бухты, окаймленной островерхими сопками, где-то за несколько тысяч километров от Москвы, Петя насмешливо улыбнулся прихоти собственной памяти; чушь, чушь, сказал он себе, так, издержки роста, каким детством это все кажется... Если бы можно было вернуть отца, сказать ему об этом...

После непритязательного сытного обеда он пошел осматривать городок из нескольких десятков в основном двухэтажных домишек; на улице из конца в конец маячили две или три фигуры в теплых комбинезонах и сапогах, детей не встречалось совсем, и Петя в странном непривычном безлюдье вышел к бухте и долго брел ее берегом, наслаждаясь тишиной, покоем, легким, солоноватым ветерком, нежарким, уже осенним солнцем, низившимся к вершинам сопки. Под его ногами свежо и непривычно похрустывали пустые раковины. Путь ему неожиданно преградила высокая, причудливой формы скала, напоминавшая фантастическое животное, пьющее из бухты, выгнув длинную извивающуюся шею; загоровшись внезапным азартом, Петя решил взобраться на самый верх каменного исполина и после ряда неудачных попыток, ободрав руки, все-таки добился своего и не пожалел. Ему открылось необозримое, тяжелое выгнутое зеркало воды, со всех сторон окаймленное отвесными склонами сопки, рваными, словно вчера сброшенными сверху, нагромождениями скал, кое-где прорезанными речками и ручьями; почти идеально круглая бухта соединялась с океаном проливом километра в три; стихии, часто бушевавшие в океане, не могли пробиться в бухту, и здесь даже в самые бурные штормы только мелкая рябь покрывала спокойную поверхность воды, да еще во время приливов и отливов вода заметно прибывала и убывала. Солнце низко висело над сопками и над бухтой, сгущаясь к берегам, держалась рыжевато-искристая мгла, ощутимая, медленная, и вода, перенасыщенная тяжелым светом, лениво шевелилась. Петя задержал дыхание; вода и скалы с каждой минутой неуловимо меняли окраску, и внезапно появившиеся в хрустальном небе сильные и стремительные птицы с косыми упругими крыльями стали падать на воду и вновь, с резкими, скрипучими криками, взмывать в небо. Солнце уже цеплялось нижним краем за вершину сопки; видимость еще улучшилась, и Петя, присмотревшись, различил в отдалении несколько длинных веретенообразных предметов, мирно лежащих на воде; даже издали они внушали смутное уважение и чувство неведомых, холодных океанских глубин, ставших покорными человеку; и еще дальше, уже на противоположном берегу виднелись расплывчатые очертания каких-то построек, почти сливающихся с горами. Бухта жила своей, скрытой от непосвященного, затаенной жизнью; гранитные скалы, освещенные заходящим солнцем, искрились, казались облитыми тончайшим нежным пламенем. И ему мучительно захотелось

разделить видение этой просветленной красоты именно с Олей, захотелось, чтобы она была в эту минуту рядом.

## 11

Захваченный и даже несколько обиженный ходом незнакомой жизни, совершенно независимой от него, Петя во всей своей внутренней сумятице, пока еще многое для него определявшей, попал в отдаленную северную бухту в общем-то случайно; Шалентьев же, вполне сознательно взявший пасынка с собой в надежде с ним сблизиться, прилетел сюда по сверхнеотложному, важнейшему делу; ему предстояла тяжелая борьба, целым рядом обстоятельств в нее были втянуты самые разнородные силы, и Шалентьева ни на минуту не отпускало чувство опасности. Присутствие пасынка рядом, как ни странно, короткие разговоры с ним, даже его молчание ободряли и укрепляли Шалентьева. В отличие от Пети, постоянно занятого своими личностными конфликтами, в его возрасте естественно считавшего именно себя центром мироздания и все измерявшего своими внутренними неурядицами, Шалентьев хорошо знал, как мало от него лично зависит в сложном и трудном мире, и стремился не упустить ни одной, даже самой маленькой возможности продвинуть и улучшить доверенное ему дело. Там, где Петя видел поражающую воображение огромную, экзотическую океанскую бухту, в навалах сопок, в неповторимых сочетаниях и контрастах осенних красок, первозданных и пока еще почти не тронутых человеком, и радовался этому, Шалентьев видел прежде всего некую рассчитанную и важнейшую, необходимую точку в цепи стратегической обороны, в создание которой он вложил толику своей жизни и судьбы; в отличие от Пети он знал о немислимых силах, таящихся и в самой бухте, окаймленной навалами сопок и скал в пламенеющем оранжево-красном осеннем цветении, и под скалами, в каменных лабиринтах тоннелей и шахт. Раскованные малейшим движением человеческой воли, силы эти были способны испепелить целые материки, и степенью именно этого тяжкого, непереносимого знания Шалентьев теперь судил людей и их поступки, хотя хорошо понимал, что не имеет на это права. Он оправдывал себя лишь непреложным законом его положения, его должности, неукоснительно определявшими людей его, пусть даже самый невинный поступок, простое человеческое движение, и ничего нельзя было изменить, пока он оставался на этом посту. Уже за полмесяца до своего, казалось бы, неожиданного прыжка за несколько тысяч километров от Москвы к океану, в один из незаметных военных гарнизонов, значившихся, однако, в самых секретных стратегических картах противоборствующих сторон, Шалентьев знал о причине, заставившей его совершить этот прыжок, но до самого решающего момента не мог бы и самому себе определенно ответить, как он будет держаться в сложившейся ситуации, скажет ли он свое «да» или «нет», и, как ни странно, такая неопределенность вызывалась отчасти и присутствием пасынка. Побывав на объектах вместе с группой прилетевших с ним экспертов и выслушав их, он за два часа до официального заседания попросил Лаченкова, представлявшего всемогущее ведомство Малоярцева и прилетевшего на объект неделей раньше, встретиться и заранее обговорить основные положения; увидев медлительного, с бледным нездоровым отечным лицом Лаченкова, с огромным желтым, сильно потертым портфелем, он, приветливо улыбнувшись, пошел ему навстречу.

– Садитесь, Степан Лаврентьевич, – пригласил он, косясь на желтый портфель и проникаясь враждебностью, точно к живому существу, к этому объемистому вместилищу самых непредсказуемых резолюций, приказов, установлений, решений, готовых каждую секунду вырваться на волю и обрести громадную гибельную, разрушительную силу. – Пожалуйста, к столу, к столу, здесь удобнее...

– Гм, – вопросительно вскинул белесые, редкие, почти незаметные брови Лаченков и в ответ тоже собрал узкие нервные губы в улыбку, но на лице у него от этого лишь усилилось выражение недовольства. – Благодарствую, сяду, сяду, Константин Кузьмич, ох, куда мы с вами забрались, в наши-то с вами годы...



– Ну, какие еще наши с вами годы, Степан Лаврентьевич, – принимая предложенную игру, в тон ему сказал Шалентьев. – Цветущий зрелый возраст. Ведь на месте вас не застаете... Неделю назад позвонил, отвечают – в командировке, на юге, а сейчас во-он где, уже здесь, снова за несколько тысяч верст... Пришлось напрячься.

– Гм, гм. – Лаченков сделал новую попытку сложить губы в улыбку. – Рад вашему хорошему настроению...

– А это, Степан Лаврентьевич, от одной, неизъяснимо сладостной надежды: обещали вечером устроить рыбалку. Я ведь, к вашему сведению, самозабвенный рыбак... в последний раз... дай Бог памяти, держал удочку в руках что-то около года назад...

– Непростительно, Константин Кузьмич, лишать себя в наш век положительных эмоций – непростительно! – простодушно посетовал Лаченков, вздергивая белесые невидимые брови и с интересом вглядываясь в Шалентьева. – Что же ваши молодцы так плохо за вами смотрят?

– Так ведь инструкцией не предусмотрено, Степан Лаврентьевич, – приветливо улыбнулся и Шалентьев, начиная невольно наслаждаться предложенной игрой и осознанно отдаляя момент окончательного решения.

– С удовольствием составил бы вам компанию, Константин Кузьмич, – вздохнул Лаченков и щелкнул замком портфеля, извлекая из него изящную папку с бумагами. – Никакой я не рыбак, просто с удовольствием посидел бы рядом, смотрел бы на воду и дышал... дышал... дышал. Где там! Вот, с вашего разрешения, Константин Кузьмич, через три часа должен улететь... Меня срочно ждет с докладом Борис Андреевич... Не будем затягивать, прошу ознакомиться, Константин Кузьмич. Ничего, в другой раз, надеюсь, мы с вами найдем время и для души, не первый раз встречаемся, надо думать, и не в последний...

Взяв у Лаченкова бумаги, Шалентьев вяло полистал их, в некоторых местах задерживаясь и внимательно, подробно вчитываясь; Лаченков бесстрастно ждал, все так же безуспешно пытаясь сложить губы в улыбку, отчего лицо его казалось особенно напряженным и неестественным. Их связывали давние отношения, еще со времен покойного Тихона Ивановича Брюханова; оба хорошо знали привычки друг друга, главное, были уверены, что хорошо их знают; Лаченков, сам выходец из орловских крестьян, попадая в высокое общество, ощущал всегда свою неуверенность, закомплексованность, не знал, куда девать руки, как справиться с лицом, как придавать ему приятное светское безличное выражение, если тебе совсем не до этого, если на душе кошки скребут от очередного разноса шефа; втайне он не любил Шалентьева за его потомственный аристократизм, небрежность и значительность интонаций, непродуманное изящество движений, умение держаться естественно и ровно при самом высоком начальстве, тогда как он, Лаченков, всегда выглядел деревянным истуканом. И сейчас, исподтишка наблюдая за нервными, сухими, ухоженными пальцами Шалентьева, лениво и точно перекидывавшими бумаги, Лаченков втайне завидовал ему и наслаждался предстоящим унижением своего противника – все равно, хочет он этого или нет, а этот патриций будет вынужден согласиться, сказать свое «да»; против воли Малоярцева пойти, как и раньше, не осмелится; пусть его побесит, покипятится, завьется винтом, пусть сам себя клюнет в одно место... А покориться придется.

Отлично понимая, что прав Шалентьев, а не он, Лаченков, прав в своем внутреннем несогласии, почти бешенстве, которое вон как дергает лицо Шалентьева, несмотря на все его умение владеть собой, отлично понимая, что если удастся сейчас сломать Шалентьева и вырвать у него согласие, то пострадают большие и важные государственные интересы, Лаченков, однако, ничего другого не ждал и не хотел от Шалентьева, как только этого фальшивого и в то же время обязательного, ничем иным не заменимого «да»; просто Лаченков слишком хорошо знал положение дел и не видел для Шалентьева другого выхода, сказать «нет» было равносильно самоубийству. А если уж раскручивать до конца откровенно, то сказать «да» Шалентьеву нужно было не только ради личного самосохранения, но и в силу выигрыша серьезных,

хотя и временных государственных интересов. По-прежнему наслаждаясь затягивающимся молчанием, Лаченков лишь гадал, сколько времени еще потребуется для созревания этому аристократишке, рафинированному интеллигенту Шалентьеву, пять минут или же вдвое больше, целых десять?

И Шалентьев знал, что Лаченков сейчас наслаждается его душевным дискомфортом и что иначе он чувствовать себя не может, но сам не испытывал к Лаченкову враждебности или хотя бы неприязни; Лаченков другим быть не мог, он являлся всего лишь слепым исполнителем, безукоризненно вышколенным и отшлифованным обстоятельствами и требованиями самого времени; и Шалентьев, с самого начала зная о вынужденной необходимости сказать именно «да», о невозможности поступить по другому и все же проклиная себя за нектати проснувшуюся нерешительность, тянул и медлил на потеху ждущему и наслаждавшемуся Лаченкову.

Храня невозмутимое спокойствие, он наконец взял ручку, придвинул к себе бумаги, готовясь поставить свою визу и подписать, и Лаченков, внутренне торжествуя, весь подобрался. Глаза у Шалентьева сделались льдыстыми, он уперся взглядом в переносье Лаченкову, там, где сходились его белесые невидимые брови.

– Знаете, Степан Лаврентьевич, я, к сожалению, подписать актов о приемке объектов не могу, всех десяти объектов, – сказал он, испытывая минуту душевного просветления и даже наслаждения и слыша свой глуховатый голос как бы со стороны, откуда-то издалека; впрочем, и голос этот был не его голос, а чей-то другой, посторонний и незнакомый; он даже слегка склонил голову, прислушиваясь. – Не могу, Степан Лаврентьевич, не подпишу, – добавил он, болезненно остро наслаждаясь своей решимостью и обреченностью.

– Извольте шутить, Константин Кузьмич, – сдвинул бесцветные брови Лаченков, в то же время ощущая какой-то обрыв в сердце; земля вначале слегка шевельнулась, затем ринулась из-под ног, и на несколько мгновений собственное тело словно перестало существовать.

– Объекты не готовы, я не возьму на себя ответственность, Степан Лаврентьевич, – сказал Шалентьев. – Вы сами знаете, насколько она велика, не по моим плечам...

– Нет, вы шутите, – опять не поверил Лаченков и от бессмыслицы происходящего ему, наконец, удалось сделать невероятное; уголки его губ как бы сами собой приподнялись и на его лице появилась довольно приятная, какая-то простецкая, с собравшейся на желтых висках кожей, орловская, хавроньяна, как определила бы жена, улыбка; она, словно приклеенная, держалась затем в продолжение всего остального разговора; Лаченков пытался уверить Шалентьева, что он всего лишь шутит, а тот все тверже старался убедить и Лаченкова, и, казалось, больше всего самого себя, что шутить такими важными делами глупо, а он, как никогда, сейчас в здравом уме. Когда он это повторил еще раз, они оба почувствовали тупик, дальше растянулась непролазная топь и глушь без единого просвета на горизонте. Улыбка на лице Лаченкова бесследно исчезла, и портфель, который он все время держал у себя на коленях, как бы уменьшился, окончательно потерял всякий цвет..

– Ну что же, Константин Кузьмич, вы, надо думать, тщательно взвесили свое решение, – сказал он строго, по-военному вытягиваясь перед Шалентьевым. – Товарищ Малоярцев, направляя меня сюда с соответствующими инструкциями, руководствовался прежде всего государственными интересами... И не только нашими отечественными, но и стратегической глобальной концепцией равновесия... мне придется...

– Да, конечно, разумеется, придется... Я все взвесил, Степан Лаврентьевич, – ответил Шалентьев, начиная чувствовать под ложечкой сосущую пустоту, и тоже встал, выпрямился. – Если у вас есть письменное указание о принятии объектов в их натуральном состоянии...

– Вы опять шутите, Константин Кузьмич, – помедлив, справившись с новой оторопью, теперь уже с явным неодобрением сказал Лаченков, собирая бумаги со стола и укладывая их обратно в папку, а папку в портфель. – Завтра так и доложу... Я, разумеется, постараюсь обрисовать положение реалистически... Честь имею, – неожиданно для себя и скорее от оконча-

тельной нелепицы происходящего буркнул он, прощаясь всего лишь коротким кивком; и у Шалентьева мгновенно вспыхнуло какое-то далекое и тревожное воспоминание, глаза сделались узкими и острыми; что-то в жизни повторялось.

– Минутку, Степан Лаврентьевич, – быстро сказал он, опережая и останавливая готового уйти Лаченкова. – Скажите, а мы не могли встречаться с вами где-то раньше... до этой нашей совместной работы? Во время войны или где-то в предвоенные годы?

– Нет, не могли, Константин Кузьмич, – четко, с ноткой враждебности ответил Лаченков, вновь пытаясь улыбнуться и затвердевая лицом.

– Ну хорошо, так, что-то мелькнуло... видимо, показалось. Прошу прощения, Степан Лаврентьевич...

– Бывает, Константин Кузьмич, – подтвердил Лаченков, открывая противнику путь к отступлению, еще к одному шагу назад; он даже переложил свой потертый портфель из одной руки в другую, выражая полнейшую готовность вновь сесть к столу; его странная улыбка гасла и уходила.

– Докладывать придется, Степан Лаврентьевич, – вздохнул тихонько Шалентьев, сделавшись необычайно задумчив, и они расстались, оба в полном душевном дискомфорте: Лаченков перед предстоящим объяснением с высоким начальством и от мыслей, что из этого выйдет, Шалентьев – от тяжести неожиданного, неумного и несвоевременного, как он уже считал, шага; дело свое он любил и уходить в отставку не собирался. Неприятное чувство обрыва не проходило, и лишь к вечеру, недовольно морщась и двигаясь вслед за поплавком, он почувствовал некоторое облегчение; чтобы не бултыхнуться в ледяную воду, ему приходилось прижиматься спиной к почти отвесной гладкой скале с углублениями у подножия, вылизанными прибоем. Поплавков из гусяного пера и пробки вот-вот должен был нырнуть, рыба брала, и, судя по поплавку, крупная, тяжелая рыба; нужно было не упустить того мгновения, когда поплавок нырнет и пойдет вниз, и, стараясь не упустить момент, он время от времени сердито морщился; его продолжала раздражать мысль о Лаченкове, и он, остановившись, прочнее расставив ноги, упершись в каменный выступ, некоторое время неподвижно глядел на бегущую прозрачную воду. «Нет, я не ошибаюсь, мы где-то встречались, я его раньше видел... Давно... очень давно, но где и когда? – допрашивал он себя. – Сверкнувший ненавистью взгляд исподлобья... и заученная рыба улыбка... скорее рыба гримаса... Этот голый череп... Стоп, стоп, тогда копна пшеничных спелых волос... где? где?»

Поплавков, неожиданно скрываясь, резко пошел вниз; Шалентьев неловко присел, подсек; удилище выгнулось дугой. «Есть, есть!» – вскрикнул он и, перехватив леску руками, перебирая ее, стал подводить. Рыба металась у его ног, поднимая, буравя воду, а он от волнения и нетерпения никак не мог приловчиться и боялся, что рыба сорвется и уйдет; на крючок попался внушительных размеров красавец хариус; вытащенный, наконец, на берег, он на глазах менял цвет, из темно-зеленого становился светлым, из него уходили живые краски подводных глубин, брюшко переставало по цвету отличаться от спинки; он прыгал и прыгал по камням, и его пришлось пристукнуть, и он сразу затих, опять стал менять цвет, темные пятнышки на его зеленовато-серебристой чешуе бледнели и исчезали. Возбужденный и счастливый, Шалентьев вернулся к старому месту, где обосновался для ловли, подтянул к берегу обрывок длинной медной проволоки с нанизанными на нее пойманными рыбинами, присоединил к ним хариуса и стал вновь возиться с удочкой. Сидевший неподалеку на покато лобастом камне Петя, с большим интересом наблюдавший за отчимом, быстро встал, подошел ближе полюбоваться добычей; Шалентьев, оживленный, быстрый, отбросив свою обычную сдержанность, молодецки-задорно подмигнул, и Петя с уважением к хорошо выполняемому, серьезному мужскому делу поздравил его.

– Много бы я отдал за два дня здесь, в ущелье, – сказал Шалентьев. – Полцарства за тишину...

– А что, нельзя? Не выходит?

– Ты сам первый меня осудишь... Не выдержишь ведь...

– Я-то выдержу, – улынулся Петя. – Мне здесь нравится... Такую благодать теперь и за деньги не встретишь...

– Нельзя, – сказал Шалентьев, забрасывая удочку и сразу же вновь отключаясь и погружаясь в радостный мир ожидания и внутреннего азарта, известного лишь истинным рыбакам и охотникам.

Солнце незаметно переместилось, и ущелье вместе со сбегавшей в бухту прозрачной холодной горной речкой раздвинулось, посветлело; оно теперь насквозь пронизывалось длинными, косыми лучами; вокруг повеселело, в тайге, трудно взбиравшейся по склонам, стали различаться отдельные островки лиственницы, ели и осины; в воде, даже на трехметровой глубине, отчетливо различались причудливо шевелящиеся водоросли, камешки и песок; река под нависшими над водой скалами ржаво отсвечивала. Петя опять вспомнил Олю, ждущую и недоумевающую, и вздохнул; даже затаившиеся здесь, среди тишины и покоя, грозные силы, вызванные к жизни разумом и волей человека, запрятанные в глубокие шахты и тоннели, совершенно не ощущались, здесь люди просто ждут, думал он, ждут месяцами, годами, одни, отбыв свой срок, уходят, другие сменяют их и вновь ждут, ждут, ждут... Так они живут здесь и привыкают – ждать... В мире, начиненном огнем и ненавистью, действительно нельзя иначе; здесь, в окрестностях этой сказочно прекрасной бухты, вся жизнь, по сути, сосредоточена под землей, под гранитными навалами сопок и только бесшумные локаторы бессонно прощупывают каждый клочок неба, в аппаратах мгновенной связи бьются сверхчувствительные токи в ожидании необходимой информации. Здесь отсчет идет на секунды, на их доли. В мире, начиненном скрытым огнем, необходимы это своеобразное уравнивание различных сторон психики, надежная и прочная опора под ногами на весьма прочной, как кажется, земле; человек зарылся здесь в камень, а наверху разумная, естественная жизнь идет себе да идет вокруг, ни о чем не подозревая; кричат, дерутся из-за добычи чайки, растут деревья, расцветают самые немыслимые краски... Глаза разбегаются от красоты..

От неприятного стягивающего ощущения в плечах Петя поежился; он неожиданно представил себе начало, вернее, те десять секунд или минут до начала конца, ради которого, вернее, чтобы не упустить его и успеть ответить, не покладая рук работал его отец, работает сейчас и отчим, работают сотни тысяч, миллионы людей. Это было немыслимо, но было именно так, и переменить что-либо было нельзя.

Ему представились теперь раздвинувшиеся многометровой толщины железобетонные плиты, открывшие ряды шахт; достаточно одного слабого движения человеческих пальцев – и из глубоких шахт, с непрерывно перемещающихся где-нибудь в лесных дебрях или в пустынях платформ тягачей, из подводных лодок вырвутся серебристые стрелы и всего на один неуловимый момент повиснут над сопками, над океанами и степями, над лесистыми зарослями... на севере и на юге, на востоке и западе... Приказ будет распространен и приведен в исполнение в считанные секунды, и ничего не подозревающий мир еще несколько минут проведет в неведении, в последней тишине, потому что в недостижимых высотах уже будут в неостановимом движении тысячи бездушных, неумолимых чудовищ, и затем начнут плавиться, испаряться огромные города из бетона и стали, и горы, и равнины уродливо запузываются и закипают...

«Все, что вышло из земли, уйдет в нее и сольется с нею...», – сказал он, припоминая старую истину, и неожиданно решил, вернувшись в Москву, сразу же пойти к Оле и предложить ей немедленно зарегистрироваться, он вспомнил, как женственно, гася свет, бесшумно она движется по комнате в прозрачной ночной сорочке, сквозь которую просвечивает тело, и тихо засмеялся. Нет, нет, сказал себе, вот этим он не будет делиться ни с кем, и с отчимом тем более. Тот, само собой, внимательно и вежливо, по своему обыкновению, выслушает, но посчитает его недалеким, недорослем; человек, у которого в руках такая власть и сила, смотрит

на мир иначе, мерит жизнь другими категориями, не очень-то приятно выказать перед ним свою несостоятельность, инфантильность души, перед человеком, знающим то, что он знает, и сохраняющим поразительную ясность духа, жизнелюбие и открытость. А может быть, только с ним и нужно поговорить?

Успев за это время выхватить из воды еще пяток крупных хариусов, Шалентьев, теряя интерес к легкой и непрерывной удаче, отложил удочку, вымыл пахнущие рыбой сыростью руки, сел на большой, свалившийся сверху обломок красноватого гранита и закурил; устраиваясь удобнее, он столкнул вниз несколько камней и прилег на локоть. Пахшая рыбой папираса раздражала, и он осторожно достал из пачки новую, прижег ее от горевшей; старая, брошенная в воду, тут же погаснув, уплыла. Отдыхая, чувствуя приятную усталость в теле, он курил и тер руки мокрым песком. Азарт проходил; оглянувшись, он позвал пасынка полюбоваться уловом, присел на корточки у самой воды, подтянув тяжелую связку с бултыхавшейся, отчаянно молотившей хвостами, поднимавшей целые радуги брызг добычей, они с удовольствием рассматривали гольцов и хариусов, отодвигая ладонью одну рыбку от другой. «И вот жизнь, вот рыбалка! – говорил он как бы сам себе, в то же время поглядывая на пасынка и приглашая его разделить свою радость. – А этот каков, посмотри, а? Зверь! Красавец! Царь! А этот? Чуть не ушел! Тянул, в несколько лошадиных сил, а? Фантазия!» Петя поддакивал, восхищался как умел; как бы узнав друг о друге что-то хорошее, чего не знали и не могли узнать раньше, они дружно засмеялись своей детской радости и, несмотря на разницу в возрасте, сделались совсем близкими друзьями. Шалентьев оставил связку с рыбами; устроившись на камнях рядом, они закурили и тихо глядели на бегущую воду. Они мало знали до сих пор друг друга, у каждого из них была своя жизнь, и Шалентьев, будучи старше и опытнее, видел и понимал, что пасынок выстраивает свою линию жизни отчаянными рывками, и если Аленка, все чаще делясь с мужем в минуты слабости самым сокровенным, сетовала на детей и говорила, что из них ничего путного не получилось, Шалентьев был совершенно иного мнения и сейчас, поглядывая на пасынка, убеждался в этом все больше. Петя, его сестра, другие, им подобные, выросли совершенно в иных условиях, получили другое воспитание, чем, допустим, сама Аленка; что же тут особого? Войны они не видели, лишений тоже, у каждого поколения свои рубцы, свои пропавшие, и отцам никогда не прожить и не решить за сыновей. Шалентьев отвлекал себя мыслями о пасынке, чтобы не думать о себе, о своем возвращении в Москву, о вызове к Малоярцеву и разговоре с ним; он знал слишком много и не тешил себя иллюзиями. Все тонуло в словах и лозунгах, страна задыхалась от парадных речей, и все живое и деятельное, любая энергичная мысль замыкались на благодушной старческой расслабленности и старческой кастовости; давно отжившие своё старцы сидели на самых горячих, самых ответственных местах и заботились только о незыблемости раз и навсегда установленного миропорядка, о собственных выгодах, о том, чтобы спокойно досидеть до конца и получить торжественное погребение... Во что это обходилось казне и государству, их не интересовало; старость была скрупулезно расчетливой и безжалостной в борьбе за продление, за каждый лишний глоток воздуха, за каждый в общем-то уже ненужный орден... Старость давно превратилась в своеобразную жреческую касту, давящую все живое; и со склеротическим эгоизмом упорно узаконивала это превращение. Можно было много раз изумляться и восклицать: ну порядки, вот порядки, страна дураков, умопомрачительная страна! Но что с того? Все равно ничего нельзя было изменить; может быть, действительно здесь присутствовало нечто азиатское, непреодолимое, навечно вошедшее в плоть и кровь; под парадной неизменной улыбкой – бушующий, вот-вот готовый прорваться вулкан; все загнано куда-то в преисподнюю, все шито-крыто, и на припудренных мертвенных лицах стариков отсвечивала кем-то заданная все та же умиротворяющая улыбка, словно они и дальше приуговаривались к тихому участию в бесконечной комедии жизни...

Доходя до такого примерно вывода, Шалентьев одергивал себя. Зачем? И в самом деле, ни одному мыслящему человеку нельзя было понять, почему, допустим, о покойном прези-

денте Рузвельте, о его нелегкой физической немогущности и далеко не светлой его деятельности были опубликованы сотни монографий и художественных произведений, часто взаимно исключаящих друг друга, а о современнике Рузвельта тоже давно покойном Сталине, о его личности не появилось ни одного всеобъемлющего обобщающе-объективного научного исследования; все подлинно достоверное о нем продолжало оставаться за семью печатями. Мало того, отсветы этой трагически-преступной исторической личности нет-нет да и промелькнут на том или ином, ныне здравствующем первом лице государства; и порой потусторонний отсвет придаст живой и теплой до сего времени физиономии фантастическую разукрашенность и нелепость, и она тут же начинает канонизироваться и возводиться слаженным многоголосым хором в степень божества.

Являясь по природе своей умеренным скептиком, Шалентьев не видел в своих мыслях ничего предосудительного; на его посту здоровое критическое начало лишь помогало душевному равновесию; ему необходимо было верить в некую самоохранительную и руководящую формулу, заложенную природой в человеческий разум, даже несмотря на изрядные успехи геронтологии в продлении человеческой жизни. Он верил и говорил себе, что если человечество однажды сгорит, то он в этом не будет виноват, даже наоборот.

Покосившись на пасынка, Шалентьев заставил себя уйти от ненужных и опасных абстракций и сосредоточиться на более понятных и необходимых вещах; жизнь не терпела шаблона, и отцы, сталкиваясь подчас с непредсказуемыми бунтами сыновей, не могут ничего понять. Отодвигая носком кроссовок от себя подальше красноватый, обкатанный прибоем за миллионы лет камень, он заворочался и уже открыл было рот, намереваясь спросить пасынка о тревожащих его проблемах, но тот, безошибочно угадывая момент, опередил.

– Знаете, Константин Кузьмич, – сказал Петя с блестящими от молодости и своей решимости глазами, – знаете, разговор уже состоялся. Больше никакого разговора не надо. Я видел – там внизу ничего не осталось, тайга, земля, камень... Я еще не понимаю, что же я точно узнал и что во мне переменялось... Не хочу торопиться...

– Тебе, быть может, и не надо, а мне? – спросил Шалентьев с легкой усмешкой. – Мне казалось, ты хотел говорить со мной; ведь и ты что-то значишь в моей жизни... Или я ошибаюсь? Если так, что ж, я понимаю... У тебя впереди вечность, поступай как знаешь, если тебе что-то мешает...

– Нет, почему же! – возразил Петя все с тем же ясным незамутненным выражением лица и рассказал о встрече с Козловским, о его трагической судьбе, каким-то фантастическим образом переплетшейся через отца с жизненным путем его самого; о перевернувшей все привычные мерки смерти Козловского; тут он, с самого начала приказавший самому себе оставаться спокойным и даже невозмутимым, оборвал; что-то опять его остановило. Он не мог рассказать отчиму абсолютно всего, он это ясно почувствовал; что-то мешало пойти до самого конца, до доньшка души.

– Я не герой, – помолчав, сказал он мрачно. – Обыкновенный человек, живущий по закону большинства. И этим все сказано. Обыкновенный. Это я здесь понял. Мог и не родиться, ничего бы не изменилось. Самый обыкновенный. Буду работать... Надо делать свое дело и не мешаться под ногами у других... Никак вот машину для филиала не выколотишь... Упирается все в этого нашего Малоярцева... нам нужна машина третьего поколения, а он на все лапу наложил... Какая там экология! Его, по-моему, зачинали искусственным путем в стерильной пробирке, вот он начисто и лишен самого элементарного в человеке... Нет, Константин Кузьмич, я не страдалец, мне вычислительная машина нужна, хочу материал для диссертации добрать... защититься мне, черт возьми, надо, денег никогда не хватает... жениться вот хочу!

– Эк тебя прорвало! Подожди, не все сразу. Давай по порядку, – с легкой иронией одобрил Шалентьев. – Ты просто взрослеешь, Петр. Говорят, мужики до тридцати лет растут... а? Хорошо!

– Думаю, Константин Кузьмич, каждому надо начинать с самого себя. Определить для самого себя цель. Что же делать, если все сгнило, остались одни лозунги... Никто же ничему не верит...

– А вот это зря! Оттого, что грязные руки захватили, запачкали нашу идею, суть ее не изменилась. Лучшего человечество пока ничего не придумало, да и вряд ли придумает в ближайшее тысячелетие!

– Хотел бы верить так, как вы, Константин Кузьмич, – задумчиво сказал Петя.

– А без веры нельзя жить. Другого пути у человечества нет. Без веры в необходимость разума, добра человечество самоуничтожится. Осталось недолго. Мне тоже многое не нравится, нужна очистительная метла. Я знаю только один путь: нужно работать, нужно работать, работать, работать, всем и каждому над собой, улучшать себя и общество в целом...

Тут Шалентьев ясно представил себе свое возвращение в Москву, объяснительную записку и реакцию Малоярцева, почти физически ощутил на себе тусклый взгляд уже отрешившегося от жизни человека, но продолжающего нести ее главные функции, – понуждаемого чужой, непреклонной волей составившегося долгими годами безжалостного окружения; Шалентьев ясно представил себе, как заработает этот идеально отлаженный механизм, немедленно избавляющийся от малейшего отклонения от трафарета, от любой посторонней прикосновения...

– Рядом с тобой вон какая глыбища – Обухов... Он сейчас в опале, по сути дела, изгнан из Москвы, в академии о нем слышать не могут, но ведь открытый его не закроешь... Считаю счастливым билетом, который ты случайно вытянул, что тебя прибило именно к нему. Потом ему будут ставить памятники, восторгаться – у нас это умеют! Сколько он крови и мне, и твоему отцу попортил, да что – нам, самому Малоярцеву! – неожиданно весело сказал Шалентьев. – Ого! Однако – человечество! Не уважать его просто нельзя... А твой отец! Я хорошо знал Тихона Ивановича, Петр... Тебя мучает степень вины твоего отца в судьбе Козловского... Но ты должен понять, для политика вообще ни принципов, ни совести, ни других подобных расплывчатых вещей попросту не существует, идеальная власть невозможна, всегда будут издержки. Отец твой стремился к тому, чтобы их было меньше. Если бы не было таких людей, как твой отец, жизнь вообще превратилась бы в кошмар, в хаос... Памяти твоего отца тебе стыдиться не надо...

Петя слушал, не поднимая глаз; он бы, если бы даже очень захотел, не смог бы сейчас взглянуть в лицо отчима; стараясь уйти от лишних объяснений, он ворошил у своих ног мелкую, разноцветную с частыми вкрапинами слюды, гальку. Никто не мог постичь и объяснить начала и завершения, и человек, сам того не осознавая, продолжал жить и действовать по законам космоса; непреодолимая сила вела его все дальше и дальше, приговорив к вечному закону движения в противостоянии противоположных начал, вплоть до самоубийства, до взаимоуничтожения; и даже, казалось бы, сугубо человеческий, сугубо трагический закон знания был заложен и развивался по непреложному пути самой природой космоса, опять-таки до самоуничтожения...

Ожидая, Шалентьев глядел на пасынка, и тот, указывая на сопки, на бухту, на притаившийся в распадке городок, плотно укутанный сейчас предвечерней, первозданной тишиной, и почему-то понижая голос, спросил:

– Константин Кузьмич... это, ну, что затаилось здесь... ведь когда-то оно может сорваться, зарычать, завывать... полететь? Или все-таки это бессмысленная жестокая игра, мираж... нужный немногим избранным, так сказать, посвященным, всего лишь для власти над многими?

На разноцветную гальку, шурша ею, равномерно накатывала прозрачная, во весь берег, длинная волна; Шалентьев долго молчал, неотрывно глядел куда-то на противоположный, еле угадывающийся в сиреневой дымке берег бухты.

– Нет, Петр, не избранным, всем это нужно, просто нужно для сохранения жизни. Знаешь, я практик, теоретика из меня не получилось. Но я уверен, тотальная война невозможна, – буднично сказал он наконец. – Я слишком хорошо знаю право сильного – мы должны быть готовы к войне. Только я хотел бы дожить... а если все-таки случится, мы не имеем права опоздать с ответом. Не знаю почему, но успеть мы должны... Вот и все. Мне теперь порой начинает казаться, что какой-нибудь дьявол существует и с большим любопытством следит за всеми нами... Я порой даже начинаю различать перед собой его ехидную рожу, слышу его трескучий, издевательский хохот... Вот и ты на меня сейчас как смотришь... Ладно... Пройдет! Все пройдет... Только не пытайся совсем уж обесмыслить жизнь отца, да и мою тоже... Какой-то смысл в нашем деле все-таки был и есть.

Больше они не разговаривали и вернулись в городок молча, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами; с океана шли сумерки и слышался низкий, тяжелый гул.



## 12

Малоярцев действительно почти ничего не решал сам непосредственно, ему достаточно было лишь выразить свое отношение к складывающейся ситуации, к тому или иному вопросу – и его заместители, референты, помощники, секретари тут же улавливали главное, уясняли и запускали отлаженную машину; все остальное происходило и решалось как бы само собой, но происходило и решалось только так, как хотел того Малоярцев. Иначе возглавлять, направлять и контролировать важнейшее государственное дело и долго оставаться во главе его было просто невозможно. Малоярцев никогда не забывал о своем рабочем происхождении и любил при всяком удобном случае рассказать об отце, о том, как отец его, столяр, известный на весь уезд мастер (которою иногда даже приглашали реставрировать дорогую мебель в губернский город) приохотил его к труду, к мастерству, к чудесному запаху дерева, смолистого, напоминающего целебный настой – липового, отдающего недозрелым антоновским яблоком, и красного дерева, заморского, с его тонкими, почти неуловимыми запахами далекой, неизвестной, нездешней жизни; запах именно запах смолистых стружек часто снился Малоярцеву в продолжение всей жизни и особенно когда вплотную подступила старость и стали исподволь подкрадываться болезни и мысли о неизбежной, неотвратимо приближающейся смерти. Малоярцев давно уже не помнил ни отца, ни его сильных рук с задубевшей кожей ладоней, о которых он часто рассказывал; он давно забыл и небольшое местечко в предуральских, тогда еще густых лесах, где родился, и лишь запах свежего дерева, неповторимый аромат смолистой сосновой стружки особенно в последние годы все усиливался во сне. Где-то, тайно даже для себя, Малоярцев знал, что, когда появится вкус смолистой стружки, разольется во рту ее терпкая, слегка вяжущая горечь, его, Малоярцева, трудное земное странствие завершится; он, естественно, ни с кем не делился этими своими мыслями, ему нравилось, просыпаясь ночами, представлять себе свой последний час, растерянность друзей и близких, весь дальнейший маскарад прощания и затем последнее прибежище после своего столь долгого и бурного, наполненного скрытыми страстями, взлетами и падениями пути, и на вялых губах у него блуждала тихая, прощающая улыбка. Он хорошо знал человеческую породу, знал свое место и положение в той служебной иерархии, весьма сложной, пирамидой всегда возвышающейся над простой, естественной жизнью и безапелляционно полагающей, что именно она определяет жизнь и управляет ею, и мог позволить себе по вечерам, оставшись один, пофилософствовать, находя в этом утешение и оправдание собственным делам и поступкам за бесконечный и утомительный день; он все больше дорожил теперь вечерними часами одиночества; вот и сегодня, если не считать обстоятельного и не совсем приятного доклада Лаченкова, вернувшегося из командировки, день прошел сравнительно гладко, и он лег в постель ровно в одиннадцать; на этом настаивали врачи. Жена, излишне рыхлая, не любившая движения и весьма активно боровшаяся с подступающей старостью и болезнями, пришла проститься перед сном в длинной ночной сорочке, расшитой по вороту и подолу шелком; она присела на край кровати, тяжело наклонилась, с легким вздохом поцеловала Малоярцева; во избежание ненужного объяснения и даже препирательств, он, отвечая, вяло шевельнул губами.

– Как, Боренька, мы себя чувствуем сегодня? – спросила она, подчеркивая свою заботу о нем, и прикоснулась к его лбу сухой, горячей ладонью, знакомо пахшей сладковатыми духами.

– Хорошо, хорошо, – сказал он, вынужденно выполняя эту каждодневную церемонию и не скрывая легкого оттенка раздражения; не принимая его настроения, жена заученно улыбнулась, дрогнули одутловатые щеки, и разговор их был закончен до следующего вечера, хотя Малоярцев видел, что жена хочет сообщить ему какую-то не совсем, очевидно, приятную новость; они так долго были вместе, что теперь просто читали мысли друг друга; Малоярцев знал также, что жена, в нарушение– установившегося между ними негласного уговора – нико-

гда перед сном не говорить о делах, ждет его разрешения или хотя бы молчаливого согласия на вопрос с ее стороны. Малоярцев промолчал, и она, подождав еще немного, молча выключила верхний свет. Он лежал и смотрел перед собой; жена еще надеялась, что он окликнет ее, и медлила, оправляя завернувшуюся штору. Он лежал, не шевелясь, прямо глядя перед собой, и она, все так же неслышно ступая, бесшумно притворила за собой дверь. И тогда он почувствовал облегчение и как-то сразу успокоился. Кровать в его спальне была строгой, чуть шире обыкновенной солдатской, по стенам в скупом нижнем свете проступало несколько еле угадывающихся сейчас гравюр, и только стоя разноцветных телефонов на приземистом просторном столе и особый аппарат, закодированный на мгновенную связь со строго ограниченным кругом лиц в случае необходимости, указывали на обособленное положение обитающего здесь человека. От телефонов, плохо различимых сейчас в полумраке, всегда исходило ощущение тяжести их присутствия рядом, вернее, ощущение их возможности в любое мгновение дня и ночи разбудить спокойное, размеренное течение жизни и сделать ее невыносимой. Привыкнуть к этому он так и не смог, о присутствии телефона он не забывал никогда, даже во сне. Повернувшись на бок, он потянулся выключить свет, рука его остановилась на полпути, затем безвольно упала. Он внезапно и, самое главное, безошибочно почувствовал, что пришедшая ночь не принесет ему ни успокоения, ни отдыха; разговор с Лаченковым не мог пройти бесследно, сделал свое, хрупкое равновесие нарушилось, и теперь никакие снотворные не помогут. Вернее, нужное их количество просто невозможно проглотить, завтра ряд важных дел и встреч, и нельзя быть уж совсем дураком, с тупой чугунной головой. И тогда что-то темное, мохнатое, вызывающее легкое чувство подташнивания, пришло и поселилось в нем, постепенно заполняя все его существо и вытесняя последние остатки спокойствия и трудного душевного равновесия. И он обреченно прикрыл глаза; свет нельзя было гасить, он уже по собственному опыту знал, что в темноте началась бы совершеннейшая чепуха. Защищаясь, он сложил вялые губы в гримасу, должную означать пренебрежительную усмешку к происходящему, к себе, к своему состоянию, вообще ко всему миру, ведь по сути дела ничего важнее рождения и смерти и короткого пробега между этими двумя рубежами не было и быть не могло. Какой бы власти и положения ни достиг человек, ему не избежать ухода; природа мудра, она пресекает жизнь человека на самой критической точке, в момент, когда его жизнь становится ядовитой и человек начинает отравлять не только себя, но и все вокруг. Тогда всевидящий, вездесущий судья приходит и, глядя в глаза своей очередной жертве, обрывает истончившуюся нить. И в чем же состоит в такой, именно в такой момент смысл и достоинство человека? Нашупать роковую кнопку и вместе с собой взорвать мир? Благо, такая возможность, если ее подготовить, кое у кого теперь есть... Или молча и покорно ждать и безропотно уйти, как уходит трава под снег или как умирает не подозревающее о смерти животное? Или метаться, выть и стонать на весь божий мир; да, да, возможен и такой выход – ведь у смерти тысячи ликов, и ни одна смерть не похожа на другую.

Малоярцев тяжело повернулся на бок, затем опять на спину: как-то неловко думать о вечном, о космических категориях и лежать на боку; просто смешно. Предстояла бесконечно длинная бессонная ночь, и нужно набраться терпения, в конце концов когда-нибудь же наступит утро. Каждый проживает свою жизнь, мир существует лишь потому, что есть он сам, индивидуум, и каждому важен именно он сам, его желания, иногда стыдные и порочные, его биологический и социальный опыт, и даже вот это брэнное, давно начавшее разрушаться тело, пожалуй, это брэнное, слабое тело – больше всего. Наедине с собой можно в этом и сознаться; устраиваясь удобнее, он опять заворочался и почувствовал неприятную, сосущую тяжесть в желудке; он стал вспоминать, что подавали на ужин. Ну да, конечно, ему настойчиво посоветовали съесть несколько ломтиков ананаса, а свежие фрукты впрямь ему давно уже не шли; как же он не воспротивился и так опростоволосился? Совсем распустились, никто не хочет работать, выполнять положенное; нет, нет, в демократию с людьми играть не приходится, тут же

тебе и на шею сядут, никакого сладу с этим народом. Если рассчитывать, то только на самого себя... Разумеется, врач могла бы и остановить, надо присмотреться к ней повнимательнее... Необходимо исключить возможность ошибки. Здоровье человека, взвалившего на себя такую непосильную ношу, тоже не шуточное дело! А ей-то что? – тотчас с раздражением спросил он себя, и густые пышные брови его сошлись в сплошную линию. Все-таки он был реалистом и остается им, и нечего валить с больной головы на здоровую. Так уж устроено: все когда-нибудь кончается, и этого нельзя переменить, надо прямо и бесстрашно глядеть в глаза предстоящему и честно сказать себе, что придет время – и свершится непреложный закон жизни: ты перестанешь существовать. Никакой врач ничего здесь сделать не может, страх перед свежими фруктами – всего лишь попытка обмануть себя... Глупо, смешно и стыдно, и никакие массажи, никакие травы, снадобья и целебные источники не помогут, строжайшая диета тоже...

И тут Малоярцев ощутил нечто совсем уж странное, и теперь совершенно замер, прислушиваясь к себе; он даже дыхание задержал. Его неприятно поразила необычная ясность мысли, какое-то отрешение от себя и от этого – облегчение и даже опустошение. «И хорошо, и хорошо!» – сказал он, с легким всхлипом втягивая в себя воздух, и тут же на лице его, привыкшем к неустанному самоконтролю, за долгие годы ставшем неотъемлемой его маской, пробила слабая размягченность; казалось, вся его жизнь, все его прошлое и настоящее собралось и переплелось в один узел, сосредоточилось в одном моменте и, самое главное, теперь он не боялся предстоящего, вернее, думал, что не боялся: в нем началась и все время усиливалась непривычная, изматывающая, в то же время необходимая внутренняя работа; он совершенно забыл, что все началось со съеденных по недосмотру врача немудрящих свежих ананасов; теперь его мучила мысль о бесполезности и ненужности своей жизни, о никчемности всего прожитого, и это открылось ему и открывалось все больше в беспощадной наготе и беспомощности и заслоняло остальные его страхи и переживания. Он не верил этому и не мог поверить; согласиться с этим – значило бы немедленно умереть. И в самом деле, не мог он, прожив такую длинную, бурную, полную потрясений жизнь, прожить ее совсем уж бесполезно; так не бывает. Просто в механизме жизни что-то сломалось, и она шла не так, как ей надобно бы идти, чтобы все закончилось в свой срок, естественно и просто. Он устал, устает ведь и металл; но ведь заяви он завтра о своей усталости и желании уйти на покой, на заслуженный, как принято сейчас говорить, отдых, сбросить с себя непосильную ношу – уйти ему по-хорошему не дадут, и просто даже отойти на время, взглянуть на все со стороны не дадут. Что тут подыметесь, какой шабаш; он причмокнул вялыми губами, прогоняя подленькую, тщеславную мыслишку о своей значимости; чего уж подличать перед самим собой! А почему, собственно, нельзя завтра решительно и бесповоротно заявить о своем уходе, о том, что он уже не может и не должен возглавлять большое и важное дело, что ему хочется просто отдохнуть, обрести наконец право распоряжаться собой, привести наконец в порядок свои записки, воспоминания, не те, которые за него пишут, а свои, личные, выстраданные, накопленные долгим опытом жизни и партийной борьбы, что люди с их нескончаемыми делами, заботами, требованиями ему смертельно надоели и надо давно решиться и отойти в сторону. В конце концов, он даже заслужил отдых и покой перед смертью, он ведь тоже всего только человек, и ему тоже хочется обыкновенных человеческих радостей; он представил себе, как сходит с поезда на родном полустанке Чугуево, и никто его не встречает, и вокруг занятые каждый своим, не знающие его люди, и он совершенно свободен и один, один, и может идти куда хочет и делать что хочет...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.